М. ВЕЛЛЕР

Мишахерезада

Михаил Иосифович Веллер
Мишахерезада

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3028055
Михаил Веллер / Мишахерезада / Авторский сборник: АСТ, Астрель; Москва; 2011
ISBN 978-5-17-074822-8, 978-5-271-36818-9

Аннотация

Приключения бродяги на просторах СССР складываются в картину эпохи с характерными особенностями быта, экзотическими профессиями и комизмом. «Мишахерезада» – так называли в экспедициях истории Миши Веллера вечером у костра.

Книга также выходила под названием «Странник и его страна».

Содержание

Пампасы 5
Колхоз 5
Яростный стройотряд 12
Колонна 12
Гравий 13
Цемент 17
Член районного штаба товарищ Фурника 19
Скорпион 24
Кирпичи 26
Факельное шествие 27
Конференция 33
Камчатка 35
Радиус действия 35
Метание карлика на дальность 37
Братск 42
Шикотан 45
Комсомольск-на-Амуре 46
О.М.Р.О. 48
СС всегда впереди 51
Холодильник 58
Пропуск 60
Влёт 66
Похмелье от ума 69

Изолятор 72
Репудин 75
Стойбище 80
Икра 85
От пункта А до пункта Б 87
Я думал 91
Средняя Азия 93
Гитара Фрунзе 93
Дорога 96
Анекдот 101
Концерт 104
Чечены 111
Гей узбеки 114
Калым 119
Муэдзин 123
Конец ознакомительного фрагмента. 125

Михаил Веллер
Мишахерезада
Авторский сборник

Пампасы

Колхоз

Дорога в жизнь начиналась с водки с картошкой. Водку пили, картошку собирали, совмещение этих занятий называлось счастье труда.

На этой дороге меня и сбил автобус. Мы шли по обочине с поля на обед и любили Чехова. Чехов гениально сказал об идиотизме сельской жизни.

Автобус смахнул меня по касательной в левый бок и плечо. Я осознал толчок и полет, открутил высокое сальто и пришел на бок, сгруппировавшись. Когда я вскочил, зеленый автобус небыстро удалялся, вихляя. Потом мне сказали, что он был желтый с синим низом. Наложение цветов.

Во-первых, штаны у меня лопнули с боков по швам, и отворились спереди до колен, как отстегнутые флотские кле-

ши. И я пошел, держа штаны руками. Во-вторых, я упал головой в двадцати сантиметрах от здорового валуна, и еще долго переживал. В-третьих, судьба посулила, что нет мне добра от сельскохозяйственных работ. В-четвертых, вместо обеда меня тошнило.

Колхоз предавался трем занятиям: а) спивался, б) разбегался, в) выполнял план. С первыми двумя пунктами он успешно справлялся сам, в третьем требовал помощи. Народ бросали на помощь. Вдохнув сельского воздуха, народ начинал спиваться и разбегаться.

Итак, по утрам бригадир ставил нам дневное задание. Корячась носом книзу, нерадивые рабы ковыряли из борозд картошку и бросали в ведра. Начиналась изжога. Сельский пекарь был редкий умелец. От его черных глиняных буханок аж скрючивало. А с наклоном жгло душу от пупка до ноздрей.

Наполненное ведро высыпали в ящик. Полный трехведерный ящик опорожнялся в тракторный прицеп. Это был небольшой, полутонный кузов. А трактор был типа мини-«Беларусь». Садовый ДТ-20. Простая колесная машина.

Это была дурацкая работа по дурацким расценкам. У земледельца вообще мало шансов разбогатеть. Но поправить свое положение можно.

– Пацаны, накидайте-ка мне кузовок картошечки получше, – сказал тракторист нам троим. Мы с Вовкой и Серегой держались вместе и в слабосильной команде делали что

труднее. – Почище там, поровней!

И заржал. Он был рыжий, его звали Васькой, он был всегда поддат и всегда ржал. Иногда он ложился на полчаса поспать в траве у поля, а трактор вел по борозде от ящика до ящика один из нас. У руля ходил огромный люфт, а остальное примитивно.

– Вон там давай, там с верхнего края она посуше! – указывал и командовал он.

Кому и тракторист начальство. Работяге по фиг дым. Накидали и забыли.

И вот вечерняя идиллия. Кусты, пруд, закат, деревянный дом на холме. В кустах сырость, пруд воняет, в доме на нарах лежим мы, соломенные тюфяки пролеживаем. Небогатый ужин внутри бурчит, не может перевариться. Заходит один:

– Там к вам пришли. Зовут.

– Кого – зовут?

– Говорят – Мишка, Серега и Вовка.

Отродясь к нам в этой деревне никто не приходил. Бить? Так мы и на танцы не ходили…

– Возьмем-ка лопаты, – рассудил Серега. – Не помешают.

И мы с лопатами наготове крадемся на полусогнутых. А за кустом сидит наш Вася и ржет:

– Так копать понравилось, что и за стол с лопатой?

Он распахнул ватник, как петух крылья, возвещая заветный час. За пояс были заткнуты четыре бутылки. Так матро-

сы бросались под танк. Мы не поняли, откуда что зачем.

– Так картошка! – ржал Васька. – Старушке ссыпал в подпол, Егоровне! Считай, по два рубля мешок. Двадцатку дала. Я уже одну выпил. И похмелиться оставил. А это ваше. Вместе. Вы чо?

Мы растроганно впечатлились. Возбудились. Сгоношили закуску: хлеб, огурцы и томатную пасту. Газету подстелить и кружку на каждого.

Васька развел пузырь на троих, а себе по донышку:

– Пацаны, это вам, я уже!

Звяк, бульк, кряк, хэк! Хорошо пошла! Кто как, а я сто пятьдесят залпом пил впервые. Этот молотовский коктейль назывался «Охотничья» и градусов имел сорок три оборота.

Мы хрустнули огуречно, зажевали черняшкой, омокнутой в томат, и улыбнулись друг другу в теплом и ласковом мире.

– Хорошо пошла! – ржал Васька, и мы закурили, вмазавшие мужики после работы.

Дальше произошло неожиданное.

– Между первой и второй – промежуток небольшой! – объявил Васька и развел вторую бутылку.

Мы-то думали, что три оставшиеся он отдаст нам так. И мы распорядимся добром когда захотим. И отнюдь не сразу.

Наш матерый механизатор взялся за дело всерьез.

– За все хорошее! – провозгласил он, и мы выпили.

Пить оказалось делом нехитрым. Но мысль о последствиях пугала. Это была последняя отчетливая мысль.

Оказалось, что мы обсуждаем политику и проблемы сельского хозяйства. Расценки низкие, на трудодень хрен целых шиш десятых, начальство все берет себе, а народ ворует все остальное. А народ у нас – никого ничего не колебает.

– Васька, а у тебя почему трактор без аккумуляторов?

Трактор он если глушил, то всегда на взгорке, и заводился на свободном ходу.

– Да не дают мне аккумуляторов.

– Почему?

– Да я с аккумулятором вообще весь колхоз разворую! – ржал Васька.

Третья бутылка не напугала нас совершенно.

– Пацаны, молотки, по-нашему держим!

У Сереги в руках образовалась битая гитара, собранная им буквально из щепок, найденных в кустах за клубом:

Мы с миленком целовались
От утра и до утра,
А картошку убирали
Из Москвы профессора! —

со старательным чувством орали мы, поддавая удали на матерных строках.

Мы обнимались и хотели все быть трактористами, а Васька убеждал, чтоб ноги здесь никого не было.

Из последней бутылки наливали какой-то девице, она тянулась к Васькиному плечу и бесконечно канючила:

– Ва-а-ся-а, ну возьми меня на блядки!

– Уйди, дура!

– Ва-а-ся-а, ну пожалуйста-а, возьми на блядки разо-о-очек!..

Негодяй-Васька выставил пятую бутыль огненной воды. «Охотничья» была рыжей; как его чуб. Она таилась за ремнем на спине. Мы поняли, что смерть настала. Выпили и осознали смысл жизни в том, чтобы покататься на тракторе.

Мы разогнали его бегом, втроем вспрыгнули за руль, и через двадцать метров легли в кювет. Мы хохотали на всю ночную округу. Подошел Васька, отбрыкиваясь уже от двух девиц. Он пользовался успехом.

Я заблудился. Я чеканил строевой шаг туда и обратно по отрезку дороги, который вел из ниоткуда в никуда. Для поддержания сознания я орал строевые песни. Посередине моего маршрута плескалась лужа. Пересекая лужу, я опускался на колени и умывал лицо холодной водой. Последняя неубитая извилина в мозгу проводила реанимационные мероприятия.

Ночью я проснулся на нарах от жажды. Переполз в кухонную пристройку. Там наши уже кипятили чай на жестяной печурке. С такими лицами выползают из газовой камеры.

– Все муки ада!.. – сказал Серега.

– Долбаный колхоз!.. – сказал Вовка.

– Даже краденое пропить толком не могут!.. – сказал я.

До утра мы икали, рыгали, стонали и поздравляли друг

друга с чудесным спасением.

Назавтра нас определили дергать турнепс. Бледный корнеплод упирался в земле, как противотанковая мина, и вылетал с бутылочным чмоком. Менее всего он напоминал что-либо съедобное. Им хотелось дубасить по голове ботаника, который его изобрел.

– Страшный сон, – сказал Серега.

– Хоть кормят досыта, – сказал Вовка.

А потом похолодало, мы ссыпáли картошку в бурты и укрывали соломой, и если зимой ее не съели кабаны, и до весны она не померзла и не сгнила, то это ее, картошкино, счастье.

Яростный стройотряд

Колонна

А это неплохо смотрелось. Возникало гордое гвардейское чувство.

Каре на Дворцовой площади размыкалось. Четырехтысячная колонна вытягивалась по середине Невского. Серая форма отблескивала серебряными пуговицами на погонах и карманных клапанах. Тельняшки и ремни придавали шествию настроение колониальной морской пехоты. Шевроны на рукавах пестрели геральдикой.

Оркестр в голове гремел маршевой медью. Милицейское оцепление держало тротуары. Ура, и в воздух чепчики бросали!

На Московском вокзале эшелоны стояли под парами. Комсомольские боссы рубили речи с переносных трибун. Опергруппы с красными повязками рассекали массу, сдвигая строй. Отряды ровнялись перед вагонами.

– …авангард коммунистической молодежи!..

– …всегда в самых трудных местах…

– …наш труд Родине!..

С детства эти призывы успели нам надоесть. Но сейчас в них вновь ощущалась какая-то правда, и эта правда бы-

ла наша. Слова переставали звучать пустыми и наполнялись смыслом предстоящих дел. Такие дела.

На юг, на север и на восток отстукивали составы тысячи километров. Это была наша страна, и в нее ложился наш труд. Приходила проверка: мы были нужны, мы были хозяева, и мы тянули эту пахоту. Рубль, заработанный потом и мозолями, надежней золотого.

Мы знали без лозунгов, где пойдет хлеб, нефть и урановая руда по нашим дорогам. Каждая шпала, каждый кирпич и вынутая лопата грунта шли в общий зачет дела, которому мы служим.

Лица примеряли суровые выражения первопроходцев и работяг.

Никогда потом мы уже не были такими взрослыми, как в девятнадцать лет.

Гравий

Состав гравия был ссыпан километрах в пятнадцати, его весь уже подобрали на подъемку и в бетон. Понадобились замесы на очередной мостик через сухое весеннее русло. Из мехколонны выбили семитонный «КрАЗ», и после завтрака мы с Жекой поехали искать гравий. Говорили, что километрах в сорока выше по насыпи застряли брошенные остатки.

Обычный трехтонный зиловский самосвал мы вдвоем накидывали за сорок минут. Этот «КрАЗ» мы грузили часа

три, с оттяжкой посылая лопату в гору. Только рессоры проседали.

– Уж доехали, так привезем побольше, – приговаривал Жека.

– Пустыня ровная, дорога твердая, – соглашался шофер.

Шофер нас уважал. По дороге мы угостили его термоядерной кубинской «Партагас» из сигарного табака. Он затянулся, выпучил глаза, перестал дышать и вильнул в сторону.

– Ни хрена студенты курят, – прокашлял он, стерев слезы.

Когда мы перевели дух и бросили наверх лопаты, а шофер оценил, что столько еще не везено, тонн десять нашарили, – солнце перевалило полдень. Мы обтекали и сохли в разводах соли. Хотелось пить – не то слово.

– Я еще подумал – чего они воды не взяли, – пожал плечом шофер. Он провел время, подремывая в тени под машиной, там протягивает воздух и прохладно.

– Да думали, чего там, одна машина… это быстро.

«КрАЗ» стронулся медленно и тяжко, плавно набирая инерцию. Так разгоняется гора на колесах. Рессоры стукали, просаживаясь и плющась.

Я узнал вкус жажды. Язык немного распух, и ему было неловко во рту. Скудная вязкая слюна несла тухлым сыром. Желание пить приобрело ощущение горчичника в груди и горле.

– Скоро дома будем, – ободрил шофер, срезая радиус колеи напрямик и въезжая в такыр. Перегруженный «КрАЗ»

мягко продавливал корку все глубже, замедлял ход и опустился на дифер.

– Твою мать, – смекнул шофер. – Сели.

Мангышлакская пустыня поката, как стол. Такыры, пересохшие летом соляные озерца, созданы для гоночных рекордов. Растрескавшаяся белая корка держит сцепление лучше асфальта. Этот – недосох. Пятисантиметровый панцирь проломился, и колеса месили тугую бурую грязь, вязкую, как крем.

Мы обошли кругом место крушения и матом помогли шоферу газовать. Потом закурили и решили ловить помощь. Место проезжее.

И через четверть часа прикатил «зилок» с гравием! Он шел в лагерь лэтишников.

Мы продели ему трос дважды вокруг буфера, «ЗиЛ» врубил заднюю и стал газовать и тужиться.

– Давай! – орал наш из воющего в такыре монстра.

«ЗиЛ» взревел, уперся и дернул. Он обрел странный вид. Он стал голый, как женщина без юбки.

Мы упали от хохота. Уж очень дикий облик! «ЗиЛ» сдернул себе весь передок. Капот с буфером и крыльями, держась за наш трос, лежал на земле. А самосвал, с голым двигателем на голой раме при голых колесах, отскочил взад метров на десять.

– Хороший трос какой, – цинично оценил наш шофер.

– Вот такого я не видел… – отреагировал их шофер, за-

ново знакомясь со своим аппаратом.

– Давай за раму заведем, – предложил наш.

– А себе за яйца заводить не пробовал? – поинтересовался тот.

– Оторвутся, земляк.

– Что и требовалось доказать!

Итого мы с Жекой вскарабкались в кузов, взяли лопаты и принялись сбрасывать свой кровный гравий вниз. Скидав полкузова, сыпанули дорожки под передние колеса, а остальное сгребли под крутящиеся задние. А «ЗиЛ» со своим непристойным голым передом, святой его водила, тащил нас задним ходом, заведя таки трос за раму.

«КрАЗ» облегчился тонн на пять, под колесами схватилась гравийная подушка, и мы вылезли. Помогли «зилку» пристроить облицовку и прикрутить хоть проволокой в дыры срезанных болтов. И поехали в лагерь ЛЭТИ. На ближайший водопой.

Они как раз кончали обедать.

– Чего ж – воды, – стрельнула глазастая-грудастая поварешка и набуровила нам по литровой кружке холодного компота. Райское наслаждение длилось секунду.

– Попить можно? – повторили мы, переминаясь.

Их водяная цистерна была вкопана за окном. Мы вытянули ведро и стали по очереди вливать в себя литровой кружкой. Когда ведро опустело, за окном маячили расширенные глаза. Цирк проездом: человек-конь!

Из чистого понта мы набрали еще ведерко и попили врастяжку. Вода плескалась в ноздрях.

Походкой беременных ковбоев мы переместились в наш «КрАЗ», геройски сделали ручкой и уплыли счастливые.

– Гравия жалко, – ругался я.

– Вернемся и выковыряем? – предложил Жека.

…Норма воды на погрузке гравия определилась эмпирическим путем: один самосвал – один час – один литр. Поллитра на нос. Нагрузил – выпил. Десять часов – десять машин – пять литров. С чаем утром-вечером и обеденным компотом – семь литров принял и не греши.

Цемент

Самая прелесть – это разгрузка цемента россыпью. Откатываешь дверь вагона – а там дощатый бортик и цемент по пояс. И сразу молочный привкус в глотке. Влезаешь, утопая в сером порошке по колено. И совковой лопатой, предельно медленными аккуратными движениями, пересыпаешь цемент в подогнанный вплотную самосвал.

Очки мгновенно запотевают, делаются серыми и непрозрачными, очки снимаешь. Щуришься, как чукча в пургу: моргаешь почаще.

Марлевый респиратор влажнеет, залипает цементными кляксами, дышать трудно, бросаешь к черту респиратор, стараешься дышать только носом.

Плюс сорок пять в тени, а на солнце у градусника нет делений выше пятидесяти пяти. Одежда мокрая, плотно застегнутый воротник трет шею, ткань под мышками и в паху делается как наждак. Снимаешь все к черту, остаешься в кедах на босу ногу и плавках.

Когда перекуриваем в тени самосвала, наблюдаем струение белесого дымка из дверей вагона. Будто легкий пожар курится. Это движение воздуха снимает и рассеивает мельчайшую взвесь.

Выгружаем только на одну сторону, противоположные двери закрыты от сквозняка, а то все разнесет.

Когда у дверей стекающий цемент выбран до пола, отбиваем доски с дверного проема и помещаемся в две пары с носилками. Один лопатой насыпает, двое несут и осторожно опрокидывают в самосвал. Шофера считают рейсы: сколько еще?

В вагоне шестьдесят тонн цемента, но эта мысль отсутствует. В кураже и браваде сплевываешь цементом, сморкаешься цементом, смаргиваешь цементом, и все скалят серые зубы. Работа нетяжелая. Но дурная. Чего ж приятного.

Вечером долго толкаемся под струей воды из бочки, проковыриваем все места. Мыло по серой коже мылится плохо. Трем друг другу спины.

Если глаза красные – лучше промыть: закапать новокаина, когда щиплет, или альбуцида. В аптечке есть.

А потом – садимся за кухней на дрова, в свитерах и всем

теплом, каждый с чайничком горячего чая и кружкой. И пьем с сигареточкой свои три литра обжигающего и сладкого. Пот пробил и льет. Если промокнуть свежим полотенцем – след сероватый.

– Цумент выходит!

Иначе ты его из кожи фиг выгонишь. Месяц будешь шелушиться, как запаршивленный.

Член районного штаба товарищ Фурника

Дело было поставлено. Областной штаб руководил районными, а районный руководил нами, а лучше б они все провалились. Делать им было нечего. Они давали общие указания и писали отчеты.

Районный комиссар, он же штабфюрер, посетил нас единожды: сообщить, что Волга впадает в Каспийское море, поэтому мы должны с честью нести. После чего отметил галочку в блокноте и отбыл на «газике», подражая манерой маршалу Жукову, приказавшему расстрелять командование Западного фронта.

За себя он оставил члена районного штаба Фурнику. Если бы Геббельс не хромал и не умел говорить, он был бы похож на Фурнику. Фурника был тщедушен, глуп и необыкновенно патетичен. Свой штабной долг он видел в обличении нашего несовершенства. Он норовил наезжать к нам еженедельно.

График составил, тварь болотная.

На лагерной линейке под флагштоком красовалась вывеска: «ССО „Викинг“». Буквы «СС» были очень большими, а «о» очень маленькая, можно сказать, почти даже незаметная. Вот под этим СС «Викингом» товарищ Фурника полчаса бился в падучей. Он вопил о политической диверсии, а мы о том, что название включено в список отрядов, и пускай согласовывает с областью и ЦК, пока не посинеет: без приказа не переназовемся, а переписать – краски нет под рукой, пересохла от жары.

Перед палатками мы воткнули таблички с названиями бригад. А перед палаткой девушек так и значилось: «Девицы». У этой таблички товарищ Фурника покраснел и какое-то время молчал. Потом он полчаса нудил и мотал нервы нашей отрядной комиссарше. А у нее были три стройки и медаль «За освоение целины». И она его посылала деловитым матом, а мы аплодировали за стенкой штабной палатки.

Однажды умная голова прислала нам по дотянутым рельсам вагон саженцев. Типа «здесь будет город-сад». А здесь даже саксаул не рос. Из этих саженцев мы делали вечером костер, если оставался дух сидеть с гитарой: они сгорали с искрами быстрее пороха. Да, так один саженец мы посадили перед палаткой корнями кверху. Что-то в этом было. Надо было видеть товарища Фурнику, пытающегося сформулировать свое возмущение! Он аж пыхтел, он чувствовал некий непорядок на идеологическом уровне, он дергал этот саже-

нец, как Жучка за репку. Не знал, что мы его в ямке куском рельса придавили для устойчивости.

Однажды он довез директиву Центрального штаба: бород не носить! Бриться всем! Петр Первый. Проснулся. Ожил. А где ж тройная перцовая, спросили образованные мы? Наш Борода, Володя-аспирант, сущий леший, тут же вернулся с финкой и стал демонстративно брить грудь. Мы сказали Фурнике: пусть везет бритвы откуда хочет, у нас их нет. И бреет нас пусть сам, у нас руки дрожат. От работы. Это же они там в штабе ни хрена не делают. Потом две недели не брился никто.

И вот завхоз Толька Колесников, который на машине шустрил по округе в поисках разнообразия к жратве, привез откуда-то ежика. Ежика полюбили, как дитя родное. Дежурный по кухне наливал ему разведенного порошкового молока и бросал морковные очистки. А если пригоняли от рефрижератора мороженую тушу, стремительно раскисающую на жаре, ежик лакомился котлетным фаршем, просто обожал.

Но. Это не кошка. Он оставлял лужи где попало. И кухня за ним беззлобно подтирала. И как-то повариха, беря тряпку, сказала:

– Ну просто назло, вредитель какой-то, опять.

На что вторая сказала с настроением:

– Член районного штаба товарищ Фурника!

И – все. Любимому существу – любимую кличку. Сетовали на тупость товарища Фурники, на то, что он сует морду

прямо в блюдце, что от него никакой пользы и вечно он путается под ногами.

А товарищ Фурника был не в курсе. И, приезжая, не понимал, почему фраза:

– Приехал член районного штаба товарищ Фурника! – вызывает смешочки. И почему его норовят титуловать полной должностью. И повторяют приказ с радостью:

– Раз член районного штаба товарищ Фурника приказал обложить линейку кирпичом – сделаем!

И вот он приехал с серьезной миссией, не рассчитывая на хорошее. Бездельники из ЦК спустили директиву всем отрядам начислять заработки по принципу отрядной коммуны. Всем поровну. А никто не хотел, нигде. Все стояли за коммуну бригадную, как и было. Бригада упирается вместе, организует себе работу, вырывает себе объект получше, в бригаде все друг друга видят и знают. Заработок бригады делится на всех поровну, однако вводится коэффициент. Лучшие работники общим решением получают 1,2, худшие – 0,8. И это справедливо.

И вот Фурника нам внушает, что надо быть сознательными и делить все отрядной коммуной. А мы трясем красными Уставами ССО ЦК ВЛКСМ и кричим, что не фиг нарушать устав, там ясно написано: на усмотрение общего собрания отряда. И не суйтесь. То есть диспут зашел в тупик.

И тут из кухни девичий крик:

– Фурника, ты что же, гад, делаешь!! Товарищ член рай-

онного штаба долбаный!!

Немая сцена. Столбняк. Из кухни:

– Чего Фурника опять натворил?

– Этот член штаба хренов залез с ногами в котлеты и там нассал!!

– А тряпкой ему по морде! Пока не свернулся.

У Фурники выпрыгнули глаза. Волосенки дыбом. Рот ромбом, пульса нет.

Все повалились друг на друга в стонах оргазма. Счастье было слишком большим. Нечем дышать. И только потом заревели хором и гоготали на все голоса, топая, дрыгая, хлюпая и умирая.

Товарищ Фурника сказал, что это идеологический выпад против Партии, которая руководит комсомолом и учит соблюдать дисциплину и уважение к вышестоящим органам. И уехал.

Вместо него приехал райштабфюрер, районный комиссар. Разговора о коммуне он не заводил. Он очень вежливо попросил нас быть осторожнее и умнее. И чтобы наша комиссарша поехала извинилась перед Фурникой. А то он пишет бесконечное письмо прямо в ЦК.

– Люди бывают всякие, – мирно сказал он и вздохнул с намеком.

А потом попросил показать ему нашего Члена районного штаба товарища Фурнику.

– Да дайте вы ему человеческое имя! – сказал он, подумал

и стал смеяться вместе со всеми.

Скорпион

Снеткова укусил скорпион.

– Свояк свояка видит издалека, – сказали мы.

Дурацкие забавы заразительны. Скорпионы были маленькие, бледненькие, тельце с пятнадцатикопеечную монету, хвостик как членистая спичка. Больше всего они хотели, чтоб их оставили в покое, и прятались от нас всеми способами. Фаланги выглядели упитанными и пытались скрыть свое уязвимое благополучие в норках поглубже, откуда юные натуралисты их бессердечно выковыривали.

Они ядовиты весной, в брачный период. В июльскую жару бодрость у них уже не та. Днем они вяловаты и шарахнуты, оживают и пытаются поесть что бог послал в ночной прохладе.

Молодецкой удалью было взять скорпиона за хвостик, подоить набухающий микрокапелькой коготок в первый попавшийся предмет, а потом посадить на ладонь и смотреть, как он в ужасе ждет дальнейших событий. Или прихватить фалангу поперек туловища, опустить на руку и препятствовать ей, медленно путающейся в своих восьми кривых ногах, вернуться на родной песок. Девушек такие шутки впечатляют.

Снетков нас не одобрял. Он всю бригаду ни в чем не одобрял. Он был моральный миссионер и агрессивный гуманист.

Если кинуть в стеклянную банку фалангу и скорпиона, то почти наверняка мощный паук своего грациозного врага слопает. Там здоровые челюсти и ловкие передние лапы. Я же говорю, дурацкие забавы.

А Снетков вечером, если не падал с ног, заговаривал кого-нибудь из девиц на дрова у кухни и там в темноте развешивал перед ней свой эрудированный гуманизм.

Он развешивал гуманизм, а скорпионы по холодку бегали за пропитанием. И один, от трудностей пустынной жизни, решил пропитаться снетковским пальцем. Теплый, неагрессивный, в меру небольшой, лежит на полене без дела. Скорпион намеревался обездвижить палец, и тяпнул его своим коготком в самое нежное основание, в перепонку межпальцевую. И остался голодным.

Потому что Снетков вскрикнул, дернулся, забеспокоился и поднес палец к носу; но ночью в пустыне слона не разглядишь, не то что укус скорпиона. Он побежал на кухню к свету, разобрал проткнутую точку в середине покраснения, и закричал тревогу. Гад клюнул!

Мы обрадовались. А то: пустыня – и никто никого не укусил. Сбежались и стали применять навыки выживания. Насчет отсасывания яда скорпиона мы были не уверены. Кричали, что скорей скорпион снетковской кровью отравится, умирать пополз. Скрутили Снеткова, зажали руку, сунули меж пальцев уголком безопасного лезвия и выдавили скупую кровь. Потом погасили в ранку сигарету. И затруднились в

дальнейшем.

Снетков утверждал, что рука распухает и немеет. А вдруг его змея укусила? А почему однозубая? Старая. А почему ранка маленькая? А маленькие змеи самые ядовитые. Сыворотка? Где, от кого? Хором кричат народное средство: водка.

Погнали машину в участок, нашли продавщицу железнодорожной лавки, закричали открывать, она дала две бутылки из-под кровати. Пока везли, одна исчезла.

Трезвенник Снетков сосал бутылку, как младенец грудь Мадонны. С вечным спасением души на бессмысленном лице. Так и заснул с улыбкой.

И неделю мы работали ему на бюллетень. А он исправно жрал трижды в день и спал в перерывах, кося под больного.

Рука, кстати, распухла как бревно. Аллергия у него на скорпионов была, что ли.

Кирпичи

На четырехосной платформе помещалось шестнадцать тысяч штук кирпича, сложенного продольной пирамидой, четыре платформы – шестьдесят четыре тысячи, нас было шестеро на две платформы, а работяг из строительно-монтажного поезда – трое на другие две, мы встали вшестером по цепочке и складывали кирпич на грунт метровыми кубами, а они швыряли сверху в кучу, а потом закладывали ее с краев стенкой тоже в кубы, кирпич в середине ломался и

бился, зачем же так, спросили мы, а они сказали с презрительным сожалением: так вы ничего не заработаете, ребята, кому на фиг надо его так складывать; так он же битый, сказали мы, а вам чего, больше всех надо, сказали они, у них получалось вдвое быстрее разгружать свои платформы, да в рот я твои деньги, просипел Славка Баранов, он был здоровый и злой, они побубнили и не стали с нами связываться, ребята, мы же все-таки студенты, сказала Танька Тюханова, и мы демонстративно закурили и стали складывать вообще ювелирно, упираясь со всей скоростью, а аспирант Славка Баранов, недорезанный викинг-альбинос, не курил, в перекурах распрямлял поясницу сверху на платформе и горланил хрипато: несутся составы в саже, их скорость тебе под стать, в них машинисты всажены, как нож по рукоять!

Факельное шествие

Самая северная железная дорога в мире – Норильск – Дудинка. Ее клали стройбаты к 50-летию Великого Октября. От сдачи в срок зависел дембель. Качество соответствующее.

Это 69-я параллель. Снег ложится в сентябре. Вечная мерзлота.

В июне верхний метр оттаял, насыпь просела волнами, рельсовые пролеты повисли в воздухе. Социалистический сюрреализм.

Мы вели подъемку. Просыпку, пробивку, рихтовку, штопку. Когда ломался компрессор, вместо вибратора били чуркой. Когда не давал детальной точности огромный японский бульдозер, гребли студенческим: один упирается совковой лопатой в гравий, а двое тянут за концы провода, привязанного к ручке над совком.

Так вдобавок раз в неделю дрались со стройбатом, стоявшим дальше к порту. Классовая вражда: прораб заставлял их переделывать, сравнивая с нами. А они посильно халтурили под дембель в сентябре.

И чрезвычайно раздражал сухой закон. Здесь тебе не пустыня: чем предохраняться? Дождь, хмарь, мокрые ноги. Поэтому пили спирт: одну бутылку спрятать легче, чем две с половиной. Поллитра питьевого магазинного на четверых – и потеплело. И дешевле выходит, кстати.

От этой жизни мы к концу работ засуровели. Под аккорд приходилось ломать и двенадцать часов тоже. Подустали, огрубели и озверели. Еще и жрать вечно хотелось – чего-то со снабжением не додумали, мало было. И спалось в полярный вечный день беспокойно.

В последний вечер мы сложили костер из лопат и носилок и злобно пели: «От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян». Поддали и упали. И утром уехали по штопаной рихтованной дороге в Норильск.

Мы полагали что? Погулять по цивилизации, посидеть в кафе, поклеить девушек, возможно даже сходить в кино. А

к вечеру – в аэропорт – самолет – Ленинград. Здравствуй Невский, здравствуй Кировский, альма твою матер. Но было над нами культурное руководство.

Никто и ахнуть не успел, как под лозунгами культурно-спортивного праздника ССО всех загнали на городской стадион. Пара-тройка тысяч рыл со всего Таймыра. Ленинградские, московские и красноярские отряды.

А над стадионом – приветствие размером с дирижабль: «Ударно поработал – культурно отдохни!» И нас культурно строят по четырем сторонам полужиденького футбольного поля. Равняйсь – смирно. «А сейчас откроется праздник чего-то северного и посвящение всех в заполярники». Или иная подобная глупость.

Однако приближается вертолетное стрекотанье. Показывается вертолет, нарядно раскрашенный в бело-голубые цвета санавиации. Зависает над стадионом. И явно намерен садиться прямо на поле промеж нас.

Аппарат тяжелее воздуха – это всегда романтично. И когда он приземляется вот рядом с тобой – это завораживает. И мы, задрав головы, следим и радуемся.

В лица подул сверху ветерок, и этот ветерок крепчал. Лопасти свистели, мотор гремел, вертолет оседал в воздухе, как яйцо с крысиным хвостом. Вихрь рвал волосы, широкий смерч закрутился на стадионе, под вертолетом вздымалась пылевая воронка, полетели брызги, комья грязи залепили нам форму и лица, ураган сек глаза мелкой дрянью, му-

сорная взвесь рвалась в легкие и забивала рот. Вертолет сел и заглушил двигатель. Тогда стал слышен звук, и от этого вышел конфуз. Звук был хоровой, раздраженный и матерный.

Из вертолета вышла великовозрастная сексуальная Снегурочка и покачнулась от выражений. За ней выбрался Дед Мороз и показал кулак. В вертолет запустили камнем. Летчики в блистере виновато разводили руками. Праздник начался.

Сначала отличившихся награждали кусками никелевой руды на полированных подставках с геройской надписью. Мне тоже достался. На улице я подарил его девушке, пытаясь познакомиться.

Потом начальствующие уроды решили заставить нас спортивно бегать и прыгать, и мы спортивно побежали и запрыгали вон с их поганого стадиона, не интересуясь дальнейшими удовольствиями.

Кафе, столовые, рестораны и магазины Норильска были оккупированы стройотрядами. Норильск – матерый город, стоящий на костях зэков, он разное видал, но в тот день мы выпили там все, что лилось и горело.

А к вечеру праздника был назначен парад. Торжественный проход колонны по улице Ленина: центральной, как положено. А в начале и конце парада расчетливые негодяи назначили перекличку, и вот по этим спискам будут сажать потом в самолеты. А неотмеченных – в последнюю очередь, завтра-послезавтра. То есть: в начале улицы собрались все.

Перекликали и отмечали долго. Стало холодно и совсем холодно. Посыпался мокрый снег. Смеркалось. Стояли злые.

Подъехали два грузовика, и нам стали раздавать факелы. Палки как перекладины шведской стенки, на конце жестянка с ветошью, пропитанной мазутом. «Не сметь зажигать без команды!!!»

Мы околели, пока дали ножку в темноте. «Зажигай!» – скомандовали самочинные голоса вдоль колонны. Зачиркали спичками и стали прикуривать факелы друг от друга. Злость высекала оживление.

Настроение подскочило. Борьба за огонь! С факелами в крепостные ворота! Факельцуг! Лица в пламени, мрак по сторонам!

Мы выровняли шеренги по четыре и даже ударили шаг, оттягивая носок и печатая всей подошвой. Рука с факелом – впереди плеча. Неким образом спины выпрямились в прусской выправке. Левые руки сами собой легли на пряжки ремней. И звонкий дурашливо-молодцеватый фальцет взлетел:

– Айн, цвай, линкс! Линкс! Линкс!

И невидимый хор вторил глухо:

– Линкс! Линкс!

Ноги били в асфальт, как пушечное буханье. Подбородок вверх, глаза вперед. Дымные тени факелов метались по стенам. Народ встал и смотрел молча.

И тут произошло неожиданное для нас самих.

Вдохновенный голос завибрировал и запел со злым вос-

торгом:

– Зи-иг?..

И колонна рявкнула одной глоткой:

– Хайль!

– Зи-и-иг?!

– Хайль!!!

– Зи-и-иг???!!!

– ХАЙЛЬ!!!!!!

Город оцепенел. Мы маршировали, как на параде германской хроники. В единый дух, в единый шаг, в единый порыв.

– Дрожите, дряхлые кости!

– Народ! Партия! Вождь!

Образованные филологи и историки знали, что выкрикивать.

На углу киоск стоял близко к мостовой – его опрокинули и отшвырнули мигом. Сделавший замечание смельчак вмазался в стенку. Зазвенела разбитая витрина. Факельная колонна сметала все на пути. Именно так нам хотелось о себе думать.

Местная молодежь умирала от счастья и зависти.

В грозном молчании колонна продолжила шествие. Начальство задыхалось в истерике и бегало, меча пену. Но пресекать было уже нечего.

Мы били шаг через безмолвный город и знали за собой силу сделать с этим городом все, что захотим. Интересное чувство.

Потом гасили факелы в лужах, да сами уже гасли, и закидывали в грузовик; и выслушивали вопли, что охренели, из комсомола вон, всем молчать, если узнают в Ленинграде – сами понимаете. Потом в аэропорту спали на полу, на лестницах и подоконниках. Потом летели в Ил-18, молочно-сером от табачного дыма, на ощупь выхлестав все спиртное у стюардесс. Потом шлялись по солнечному Ленинграду с гитарами и бутылками.

Но это факельное шествие помнилось прочно.

Конференция

А потом все кончилось. Прошли комсомольские конференции, посвященные десятилетию студенческих стройотрядов. Принцип добровольности ЦК отменял. Свободное движение превращали в нудиловку, принудиловку и загоняловку на областные работы по инструкциям Партии.

Мы презрительно обличали уродов в актовом зале Университета – ветераны среди аппаратчиков. Мы были увешаны целинными и транспортными значками, и золотыми наградными комсомольскими, и орденские ленточки вплоть до Трудового Красного знамени в рядах тоже были.

Потом нам давали строгие выговора и снимали с выборных комсомольских должностей. В моей учетной карточке пучился вкладыш. Первые две трети были исписаны благодарностями, последняя – взысканиями и предупреждения-

ми. Невыполнение, неподчинение, непонимание, срыв инициатив и раскольническая деятельность.

Я вступил в комсомол в четырнадцать лет, первым в своем седьмом классе. В двадцать один я завязал. Чао, бамбино, сори.

Понимаете, ребята, только что пролег рубежом великий Шестьдесят Восьмой год. Вторжение в Чехословакию, сексуальная революция, студенческие волнения в Америке и Европе, закрут гаек в Союзе. Верноподданность без уклонов объявили главной доблестью гражданина.

Вместе с коллективной свободой кончилась коллективная романтика. Тогда и была исчерпана духовная перспектива страны. Телевизору не верили, а достаток не мог заменить смысл жизни.

С тех пор я всю жизнь жил сам по себе.

Камчатка

Радиус действия

Я поспорил на ящик водки, что за месяц доберусь от Ленинграда до Камчатки без копейки денег.

За секунду до этого я о Камчатке не думал. И ни о чем не думал.

Все великие жизненные начинания имеют три причины. Первая: мало выпили, вторая – все осточертело, третья – хочется чего-то эдакого. Итак, мы гуляли в общаге, не хватило, деньги кончились. Это располагает к пессимизму.

Мы кончали третий курс, двадцать один год, юношеский кризис, мудрость веков плющит нежное темя, счастье лишь обман.

Должность оптимиста всегда доставалась мне по принципу игры в пятый угол: все остальные уже выразили пессимизм, и закон единства и борьбы противоположностей заставляет последнего надувать розовый шарик «Жизнь прекрасна!».

Любимый писатель филологов – Чехов с фразой: «Жить нельзя без одних только денег». Я любил деньги, не любил Чехова, пренебрегал обоими, шокировал общественное мнение, и злобно нападал, что все прекрасное в жизни бесплат-

но. Да что я без них могу? Да все я без них могу! Жить, есть, пить, любить, и даже… ну, передвигаться… докуда?! да до… Камчатки! и трах-тибидох по умным тыквам.

Камчатку я назвал просто потому, что дальше ничего уже не было. Границы были закрыты, пространство за ними нереально. Зато в границах – Советский Союз был вполне огромен. (Чукотка еще? Это малосерьезно и там рядом.)

Наутро подобный треп забывается без последствий. Но. Что у пьяного на уме, то у трезвого в натуре. Я запал.

Юности нужна цель. Она придает смысл если не жизни, то хотя бы ее данному этапу. Я сдавал сессию и готовился.

Я купил карту, всепогодные польские джинсы пролетарского вида за шесть пятьдесят, разносил туристские башмаки за десять рублей и позаимствовал у соседа армейский вещмешок с дембеля. В пряжку армейского ремня влил свинца и выбрал в магазине самый большой складной нож.

Никогда не бери в дорогу всего необходимого – бери то, без чего никак не сможешь обойтись. Куртка из кожзаменителя и свитер были увязаны проволокой в тонкие скатки. Большая кружка работала и котелком. Носки-трусы-рубашка – одни. Мыло-щетка-паста. Спички в водонепроницаемой обертке, лезвие, пуговицы, иголка, аспирин-анальгин-фталазол. У меня было все! Это все весило килограмма два и болталось в мешочке на одном плече. Если бы я руководил снабжением капитана Скотта, экспедиция вернулась бы с полюса живой и в шоколаде.

Июнь кончался, все разъезжались на практику и в стройотряды, общага пустела. Стипендия была добита без сожалений.

Первого июля Вовка Кузнецов и Алик Исаев проводили меня на Московский вокзал. Я сдал им на хранение шесть рублей с мелочью и показал карманы.

Заранее были высмотрены дешевые дневные поезда. Я примерился к тетке, которая ползла с двумя чемоданами и двумя сумками к общему вагону «Ленинград – Омск». Это такой-то поезд? Ребята, мне сюда. Вам помочь?

С теткиными чемоданами я влез в вагон.

– Вы провожающие? – уточнила проводница.

– Провожающие! – успокоили Алик с Вовкой, влезая следом.

Когда она прошла по вагону перед отправлением, выкликая на выход, они вышли, а я остался.

Метание карлика на дальность

Есть много способов преодолевать пространство, и все они прекрасны, пока тебе не дали по шее и выкинули вон. Необходима гибкая шея и легкий характер.

Для наилучшего способа нужен минимум денег и атлас железных дорог СССР. Атлас берегся у меня в вещмешке – мягкая обложка в пол тетрадного листа. Мелочи требовалось накалымить рубля полтора. Сдавать найденные бутылки и

сшибать по пятачку у магазинов и вокзала.

По атласу выбиралась первая ближайшая станция. В расписании искался такой медленный поезд, который в этой глухой дырке на минутку остановится. И покупай общий билет! Кассирша уточнит малоупотребимое название и прищурится в справочник. Перегоны в Сибири длинные, семьюдесятью копейками обойдешься редко, но в рупь сорок уложишься всегда.

Ты загружаешься в вагон на законных основаниях, предъявляя проводнице настоящий билет. Лето. Общий вагон набит битком. Народ небогат. Ты растворился в пассажирской массе. Только ей и заботы, конечно, чтоб никто не проехал свою станцию. А ты еще помелькай, пошути, чаю спроси, это производит добропорядочное впечатление.

Прибейся к компании, втянись в разговор, закрепись в переменном вагонном коллективе. По ситуации тебя должны пригласить к закуске. Выпивка в раскаленном вагоне прекрасна не только сама по себе, но и своей демонстративной пахучестью. Если ты одарил проводницу, спотыкаясь мимо в туалет, блудливой улыбкой и горючим выхлопом, так ни одна же порядочная женщина не усомнится в правомерности твоего пребывания на ее территории.

Конечно, день на третий ты точно примелькаешься, и она поинтересуется пунктом назначения. Тогда ты называешь город, не можешь найти билет, трясешь документами и разводишь руками. Может выгнать на ближайшей. Может не

выгнать.

Вообще главное, чтобы удержаться в поезде – это все время быть из другого вагона. Тебя здесь уже знают, у тебя компания, вы проводите время за картами и разговором. Осваиваешь вагона три, заводишь знакомых в каждом, и перемещаешься из одного в другой. Сеанс одновременной езды на пяти досках. В глубокой ночи надо забиться в темную щель. Поглубже на третью, чтоб ноги не торчали. Голову – на трубу отопления вдоль стенки под потолком: она в мягкой изоляции.

В дороге я разжился тройником, оставленным в открытой служебке без присмотра. Возможность открывать все двери всех вагонов этим универсальным ключом резко расширила возможности.

Я любовался собой.

В начале перрона я встречал дальний скорый и в проплывающих мимо окнах отмечал общие вагоны. Обычно они шли ближе к концу. Потом спрыгивал с платформы позади поезда, обходя его с другой стороны и прикидывая. Если подпрыгнуть и подтянуться на поручнях двери, цепляясь рифлеными ботинками за неровности металла, то отлично оказываешься снаружи тамбура. Открывай и входи! Левой рукой крепишься сверху за поручень, ребрами подошв цепляешься, правой рукой поворачиваешь в гнездах треугольник и бородку. Почти всегда открывается. Дверь отходит внутрь.

В неслужебном тамбуре на остановках пусто – все курят на воздухе и бегут в буфет. Увидел в стекло людей – прыгай и лезь в другой. Вошел, кинул мешок на третью полку и на ходу перешел в соседний вагон. Все: ты внедрился, ты здесь давно, идешь поесть.

Вагон-ресторан – прекрасное место для бесплатной езды. Если там очередь – тем лучше: дольше стоишь – дальше едешь.

В вагоне-ресторане можно продержаться целый день. Пьешь чай с бутербродом до посинения. Главное – не съесть. Чтоб лежал на виду надкусанный. Официант не обращает на тебя внимания, раз ты ничего не требуешь. Вам обоим лучше.

Здесь курят, здесь пьют, и за бутылкой пива вообще можно прожить жизнь.

Если запах кухни распалил голод невтерпеж – бери второе подешевле, сжевывай подольше весь хлеб со стола и перед станцией тихо линяй из поезда. Из-за твоей котлеты с макаронами за шестьдесят копеек официант бегать по составу не станет.

Если катит – заводишь беседу, в дороге человек общителен, он склонен к излияниям и возлияниям. Попутчик – это исповедник, ему надо ставить и не отпускать, пусть только слушает, понимает, оценивает, сочувствует и уважает. Ты пьешь, слушаешь и уважаешь: колеса под полом тук-тук, тук-тук, и пейзаж мелькает в нужном направлении.

Лучше всего – подружиться за столиком и отправиться к попутчику в гости. Проводник: «А вы из какого вагона?» Попутчик: «А он из двенадцатого, у нас в гостях». А ночью в спящем общем лезешь тихо на свободную третью полку.

А можно попроситься к проводнице по-хорошему. По-честному. Может ведь и посадить под доброе настроение. Но если пойдет ревизор – велит исчезнуть или заплатить.

Можно на ха-ха подойти к тепловозной бригаде: «Ребята, вам стекла не надо помыть? А солярку покачать? А колеса покрутить?» Однажды я соврал, что учусь в техникуме на машиниста, меня взяли, потом в разговоре я стал сыпаться и сознался. Сначала оскорбились и обматерили, потом посмеялись и везли. Четыреста км однако!

Ехать на крыше – безумие. Не Гражданская война, и скорости не те, и крыши другие. Ветрище и пыль в глаза, и слой пыли с копотью под тобой. Однажды влез – и слез тут же. Доехал на торцовом скоб-трапе до первого разъезда, спрыгнул и проклял все. Не кино.

Если застрял на разъезде, или скинули там, – остается товарняк. Можно спросить у стрелочницы, или обходчика, или бригады, когда пойдет и докуда. Лучше всего в открытом порожнем вагоне, или с недогрузом леса или мешков. Не дует, и не видно тебя, и удобно. На платформе просвистит, на тормозной площадке тесновато. Но тоже комфортно.

Лязг сдвигающегося товарняка проходит волной по всему километровому составу. Рывок интересно сменяется тут же

плавным ускорением. Медленно едет, сердешный, и встает у всех столбов, как собака. Но везет! везет!

А когда не твой день, и денег нет никак и нисколько, и с поездом облом раз и другой, и товарняк пойдет неизвестно когда, – надо добираться до выезда из города и по-простому голосовать попуткам. Медленно, близко, зигзагами, – едут! В кабине тепло, сухо, сидеть удобно, можно курить и есть с кем разговаривать.

И ты осознаешь, что жизнь – это движение. А движение – это радость. Дорога вообще располагает к философии. Точка назначения придает дороге смысл, и смысл дороги делается смыслом жизни. А это чувство приятное.

Братск

Не могу вот так прямо сказать, что в Братске меня хотели зарезать.

Формы слабоумия очень разнообразны. Например, полюбоваться братской плотиной при электрическом освещении. Братская ГЭС была стройкой эпохи. Всесоюзный символ романтики и победы нашей общей Родины. От Тайшета всего 300 км – чего не метнуться? Оттепель, космос, коммунизм, Братск. Ночь.

На меня глянули с хмурым прикидом, задали ритуальный вопрос о причине сожительства с клопом и вынули нож. Нож был очень красивый, хромированный, блестящий, изготов-

ленный с явной любовью. Дальние электрические искры отблескивали на нем.

Какое кретинство, отметил я со стороны, и никто же никогда не узнает, если вообще найдут, концы в воду, не может быть, пацаны вполне нормальные. Я достал из кармана свою «лису», раскрыл и показал им.

– Чо здесь делаешь?

– Любуюсь Братской плотиной при электрическом свете.

– Ты еще поостри, сука!

– Он сам спросил.

– По морде хочешь?

– Большое спасибо. Это я всегда и дома могу получить.

– Чо здесь делаешь? Откуда?

– Из Ленинграда.

– Чи-во-о? Тебя спрашивают!

– Могу показать документы. И командировку.

– Как-кую на хрен командировку, тля!

– В «Камчатскую правду».

– Куд-да-а?..

Узнать стало интересней, чем бить. Через полчаса я сидел у них в общаге.

– Шамать хочешь? Выпить не осталось, извини.

– И как ты туда без денег доедешь?

– Слушай, а в Ленинграде вот вы в свободное время что делаете?

– Примерно то же, что и вы.

Им было неприятно поверить. Я неловко отработал назад насчет театров и музеев. Театры и музеи принимались с высокомерным презрением, но дружеским таким, небрежным. Необходимо держаться со мной как более значительные, а уж значительные – так во всем. Но под этим тихо вибрировали легкая зависть, и сожаление, и неполноценность сознаваемая собственная, в которой сознаться себе было никогда нельзя, и тоска легкая от этого всего. Нормальный пацаний циничный эпатаж, под которым нормальная пацанья чувствительность и жадность к жизни. Про танцы и девчонок, и хочется красиво.

Это я все думал себе в теплой интеллигентской разнеженности, потому что из другой комнаты притаранили добытую бутылку, мне накатили стакан водки – «чтоб донышко замокло!» – с бутербродом сверху на закуску, и я сразу окосел. День не ел и ходил.

– Ты не думай, мы так, погулять просто, да в общем скучно, пошутили просто.

Спросили, сколько стипендия. Пожаловались на маленькие заработки. Так а на фига вы здесь за такие деньги работаете? Усмехнулись.

Они были расконвоированные на условно-досрочное на стройках народного хозяйства. Все сидели ни за что, всех закатали несправедливо, только так можно было понять их фразы вскользь и реплики из скупого жаргонного набора.

Когда я стал обрубаться за разговором, меня уложили

спать на шконку, как родного.

Рано утром они быстро собрались на работу. Со мной попрощались мельком, никому не было дела до чужого. Их улыбки и дружеские рукопожатия казались беглыми и о другом.

Шикотан

Болтаюсь на иркутском вокзале, примеряюсь к проходящим поездам. Смех, гам, – вываливает цветник, весь перрон в девках. А, где, что, девушки – вы откуда? Хи-хи ля-ля, слово за слово, с собой не возьмете? А не боишься? Боюсь страшно, но мечтал всю жизнь. Так залезай.

Их было пятьдесят вербованных сезонниц. На Шикотан, рыбу шкерить. Каждую путину шикотанская рыборазделка принимала две-три-четыре тысячи женщин. Об этом бабьем царстве ходили легенды. Легенды преимущественно рисовали эротические ужасы.

Знаменитое было рыбное производство, дальневосточный центр.

Они вторую неделю ехали из ростовской области. Южные девчата, перегорающие от скуки. Свежим младшим по восемнадцать, матерым старшим за тридцать. От розовых щечек и до золотых фиксов. Атмосфера скептического и стоического женского родства. От хорошей жизни на Шикотан не вербовались.

В отдельном плацкартном вагоне пустовало несколько коек. Меня поселили наверх и отнеслись со всей церемонностью. Никакие вольности и близко не подразумевались. Меня кормили и везли для разнообразия жизни из доброты душевной.

Проводницу они затерроризировали, она слово боялась спросить.

Я развлекал благодарных слушательниц всеми позволенными способами. Рассказал все анекдоты, научил всем играм, поведал все истории и выслушал в тамбуре за сигаретой несколько повестей о жизненных разочарованиях. Судьба мешалась с вымыслом и умыслом, изменяли мужья, гибли парни и дети, заедали родители и светили деньги.

Поздно вечером они тихо пообсуждали, действительно ли я сплю там наверху, или навострил ушки на макушке: и поженски перебрали все мои достоинства и недостатки, как они им представлялись. Это было безумно любопытно, но лучше бы я на самом деле спал и ничего этого не слышал. Я был более высокого мнения о себе как о мужчине.

Через сутки их сопровождающий, который пил в купейном через вагон, провел со мной мужскую беседу и высадил в Чите.

Комсомольск-на-Амуре

– Здорово вы здесь тогда работали. Город стоит. С пустого

места.

– Да уж место было не приведи бог. Гиблая тайга. Комар, мошка́, болото.

– Здорово трудно было?

– Ты спросишь. Не было бы трудно – не было бы и нас здесь.

– По скольку часов в день работать приходилось?

– Да вот сколько придется – столько и работали. Пока дневную норму не выполнишь.

– Кормили хоть нормально вас тогда?

– Чего нормально. Жрать все хотели. За перевыполнение нормы – премия, доппаек. Ударники ударное питание получали.

– Зимой спецуху теплую давали?

– Ватник. Шапку, бурки.

– Много вас тут было?

– До хрена и больше. Кто считал. Только принимай.

– И вот это все комсомольцы построили… Да, люди вы были…

– Были комсомольцы, ничего не скажу. Но в основном комсорги.

– Комсорги? В основном?

– В основном на вышках.

– На каких вышках? Здесь буровые были?

– С винтовками на вышках. В тулупах. Буровые… БУРы здесь были!

– Это… что?..

– Барак усиленного режима.

– Погодите… Ни фига себе… Я думал, здесь по комсомольским путевкам работали.

– А как же. Путевки что надо. Восемь лет – и в комсомол на Амуре.

– Так вы что… сидели здесь?

– Сидят на жопе. На зоне вкалывают. Потом лежат. Если сильно повезет – выходят.

– А я думал… что Комсомольск… так строили комсомольцы.

– И комсомольцы, и коммунисты, и троцкисты, и скрытая буржуазия. Без разницы.

– А почему же назвали «Комсомольск»?

– А ты что хочешь – «Зэковск-на-Амуре»? «Краснолагерск-на-Амуре»? «Вражьегорск-на-Амуре»?

– И… много здесь народу гибло?

– Ну а сам-то ты как думаешь? Запечешься считать. Слышишь, их в университете на журналистов учат, что Комсомольск комсомольцы строили!

– Ну. А Пионерск пионеры. Пацан, рубль есть?

О.М.Р.О.

Встреча школьных друзей через годы и расстоянья – это вечный лирический сюжет. У каждого своя компания. Я о

другом.

Жутко засекреченная часть на берегу Уссури. За рекой – враждебный Китай: только весной были бои на Даманском. Забор, ворота, КПП, часовой, – все как положено. При гарнизоне – поселочек с вольным рабочим людом, без него никак, такие поселочки растут автоматически: продавать офицерским женам молоко и картошку и наниматься на вольнонаемные должности хозобслуги и кладовщиков.

Мой лучший школьный друг Витька Соловьев дослуживал здесь годком, Тихоокеанский Флот. Мы переписывались. Я завернул. Вахтенный вызвал его.

Сейчас – наставление для шпионов и диверсантов:

Мы прогулялись вдоль забора, мне указали дыру. Через десять минут окликнули с той стороны, я пролез, Витька встретил и проводил в кубрик. Напарник и кореша страховали от офицеров. Потом сидели в курилке, потом мне дали чемоданчик, я слазал в зазаборный поселковый магазинчик и принес водки и закуски. Мы пили в кустах, потом в темноте под стеной, потом я принес еще, и все это время в части неслась секретная служба. Граница была на замке, родина в опасности, оружие в надежных руках.

А в полночь настала его вахта! Они тут вахтили шесть через шесть, четверо радистов и старшина команды. Откомандированы из Совгавани для прослушивания китайских коммуникаций. Радиоразведка штаба Тихоокеанского флота. ОМРО – отдельные морские разведотряды. Гордились и

сами резали нарукавные эмблемы из красных целлулоидных мыльниц.

Мне велели перелезть через штакетник и ждать здесь. Потом в ночи забелела Витькина форменка, и меня спустили по трапу в бездонный бетонный колодец. Метров тридцать. Внизу уходил коридор в приглушенном освещении.

– Секретный бункер, – объяснил Витька. – Выдерживает атомный взрыв.

– Сюда имеет право доступа только командир части и начальник штаба, – поддержал его напарник. – Даже замполиту нельзя.

Одна из мощных блиндированных дверей отъехала, и мы втроем оказались в радиорубке. Стена небольшой бетонной комнаты состояла из аппаратуры. Циферблаты, индикаторы, ручки и маховички. На штырях висели две пары наушников и тихо пищали.

Мы сели на баночки, табуретки то есть, напарник на стол, он сделал запись в вахтенном журнале и убрал от греха подальше на полку. И мы продолжили выпивать.

– До шести часов никто не тронет, – отметил Витька.

Так они туда и гитару из кубрика притащили, и мы горланили во всю мочь.

– Уж отсюда точно никто ничего не услышит!

– Мы отсюда войну наверху не услышим.

Утомившись встречей и чувствами, было решено отдохнуть.

– Ты пока послушай немного, – приказал Витька младшему. – Записать чо-то надо.

Тот надел наушники и, задумчиво меняя волну, стал вносить пометки в журнал. Меня запихали на откидную койку под потолок. А Витька сопел головой на столе.

Доспал я наверху в кубрике. Мне натянули старую фланельку, чтоб не выделялся, и среди строя сводили позавтракать. Витька был авторитетный годок, на камбузе никто пикнуть не смел против.

Иногда вдали виднелся офицер. Офицеры к матросской жизни отношения не имели. Контактов с ними следовало избегать как источника неприятностей.

– Поживи пока у нас, отдохни, – предлагал Витька.

– А если война с китайцами?

– Тогда мы первые узнаем.

– И что?

– И быстро дезертировать в плен к американцам! Пока толпа не затоптала.

Когда мы встретились через тысячу лет, он был председателем Читинского областного суда, дед своих внуков.

СС всегда впереди

Охота на зайца – национальная забава ревизоров. Вроде охоты на лис для лордов.

Из того поезда меня выкинули паскудно. Между Влади-

востоком и Хабаровском, у разъезда в глухой тайге. Под романтический закат. Чуден Владик при тихой погоде, ось возвертаться дуже погано.

…От станции Угольная до Владивостока тридцать километров. Дальше оказалась погранзона. Во Владивосток требовался пропуск. Пропуск выдавался в КГБ по месту жительства. КГБ не рекламировало свои услуги. Этот пункт не был предусмотрен в моей программе.

Народ знает все и учит проходимцев. От Угольной уже ходили электрички. Местным сообщением пограничники не интересовались. Я сменил дилижанс на пригородный и без всяких архитектурных излишеств типа проверки документов въехал во Владивосток.

Июльское утро было как праздник. Праздник назывался День Флота. Я развернул карту СССР на вокзальном подоконнике. Чернильный пунктир от Ленинграда дополз и уперся в другой край материка. Тихоокеанский ветер кружил звуки эскадры из гавани.

Стопорясь и меняя перекладные, я посылал из городов открытки ленинградским друзьям. Почтовый штемпель с датой подтверждал мой маршрут.

Конверт с шестикопеечной маркой «Авиа» стоил семь копеек, а желтоватая «Почтовая карточка» авиа же – пять. На ее открытом обороте я написал:

«Мелкими группами скрытно проник в закрытый порт Владивосток.

Приступаю к выполнению задания».

Из всех дорожных открыток эта единственная не дошла. Могло быть хуже.

Город открывался светлый, холмистый, морской. Я сшибал копейки с гуляющих. Кстати, в воскресенье легче дают. Доход породил намерение выпить кофе в легендарном ресторане «Золотой Рог». До конца железки добрался как-никак: океанский тупик.

Швейцарский контроль не одобрил мой фэйс. Украшенный вещмешочком прикид показался простоват и грязноват. Сука хотела смокинг. Мы обсудили название «Рог» в сочетаниях «воткнуть», «отшибить», «загнуть» и «упереться». Халдей был сделан из противотанкового надолба.

В пассажирском порту белел и громоздился в небе лайнер «Советский Союз». До сорок пятого года это имя писалось в том же гордом масштабе «Великая Германия». Репарации порождают ассоциации. Поганая лайба охранялась погранцами, отходила послезавтра и чапала в Петропавловск-Камчатский неделю, с заходом на Сахалин. Спасибо, ваша яхта не в моем вкусе.

В сумерках лег туман. Залпы с невидимых кораблей содрогали берег. Салют переливал матовые краски, как северное сияние в молоке. Нарядные толпы фланировали и любовались. Вечерней электричкой я вернулся в Угольную.

Все приличные поезда давно ушли. За восемьдесят копеек я купил билет на шестьсот ползучий почтово-пассажир-

ский. Он подтянулся к трем утра. Судя по длительности стоянки, он хотел здесь пожить. Я заснул на третьей полке, в рассвете орал петух, а он все стоял.

В этом домашнем составе катились два багажных вагона, два почтовых и два пассажирских – плацкартный и общий. Тянул его видимо паровой каток: пейзаж сдвигался назад незаметно и нехотя.

В течение дня нас обогнал весь комплект пассажирского расписания, не считая товарных. В общем вагоне менялись малочисленные пассажиры ближних перегонов. Хотелось жрать. Я не озаботился хлебом в дорогу.

– Поесть можно будет купить где на станции? – спросил я проводника.

– Дальнеречинск уж проехали, – неохотно отвечал он, пристально глядя на меня. – Теперь разъезды, буфетов нет. А ночью закрыты.

Их было двое проводников. И они напоминали погасших громил, собирающих справки на пенсию. Крупные, угрюмые и немолодые.

– А чайку нельзя? – спросил я зависимым голосом.

– Титан не работает, – отвернулся он.

Через час они подошли ко мне вдвоем:

– Докуда ты едешь?

– До Хабаровска.

– Билет покажи.

Я показал билет до Сибирцево: отдал железной дороге

все, что мог. По-честному. Было бы больше – купил бы дальше.

Демонстративное отсутствие денег их взбесило. Мои беды воспринимались как недостаточное наказание паразита.

– Сука, еще спрашивал, где пожрать ему! – разъярился один.

– Я смотрю, смотрю, куда он падла едет! – шипел другой.

– Вот здесь сиди! Рядом сиди, понял!

На их стороне была сила, правда и закон. Их можно было только убить, но убить их было нельзя.

– Чё вы злые-то такие? – спросил я. – Ну, сел, ну.

– Злые? Сука! Злые! Да тебя вообще на ходу вышвырнуть! Вот из-за таких, как ты! Сюда! На почтовый!

– Пидарас! Хуеплет! Без премий! С курьерского! Два месяца! Чё думаешь мы здесь?! Блядь! Оклад! Почтовый! А что я тут, сука, зарабатываю?!

– А ревизор сядет – вообще из-за тебя греметь?! Ехать ему! Жрать ему! Кол в глотку тебе! Жрать! Я те пожру!!!

Они добавляли всю дорогу. Они пахли дешевым пойлом и злым потом. Праведная ненависть жгла их. Их выкинули с курьерского за леваков. Они искренне жалели себя, а когда здоровые мужики жалеют себя, делается противно.

– А вот хлебало тебе начистить!

Сейчас, подумал я. Станете вы рисковать. А почему не напомнили пассажиру, когда ему выходить на его станции? А на кого я накатаю заявление в дорожную милицию? А кто в

состоянии алкогольного опьянения? А кто был снят с бригады за леваков? А кто схватит два года за любой синяк при таком раскладе? К Владивостоку я был уже грамотным. Эта грамотность нарисовалась в улыбке, они поняли, зашипели и отвернулись.

– В Бикине пойдешь в милицейский пикет, понял?!

– Административное наказание – штраф. Спасибо, что напомнили, я проехал свою станцию.

Они выкинули меня, когда поезд встал. Даже не на разъезде: какой-то облезлый скворешник стоял у запасного тупичка. Мне дали тычка, пинка, я покатился. Они усмехнулись, сплюнули, захлопнули дверь и тронулись.

Ни души. Сумерки. Тайга. Комары. Железная дорога. Здесь никто не останавливается.

Пока можно было читать, я стал разглядывать железнодорожный атлас. Потом автомобильный. Шоссе Владивосток – Хабаровск все время шло рядом с железкой. Идти надо направо – на восток. Я попытался прикинуть. Фигня, несколько километров. Максимум десять. А может, два.

Я обошел кругом пустую будочку. Но рядом было вытоптано и нагажено. В лес уходила не то чтобы тропинка, но както в этом направлении угадывалась линия: не то трава чуть пониже, не то кусты чуть пожиже.

Стараясь и выцеливая, я двигался по хоженой тропке. Трудно было разобрать, она реально проложена, или в сумерках чудится. Темнело, определить направление было трудно,

но казалось, что иду я прямо.

А иногда казалось, что иду кругами. Но я помнил, что тут точно не больше километров пятнадцати от железки. И утром, по солнцу над лесом, я за несколько часов на восток без вариантов выйду на шоссе. Так что можно не беспокоиться.

Вот комар жрал. Что да, то да.

Через полтора часа, мягкой южной ночью, я вышел на асфальт. Меня посадила первая же машина в Хабаровск. Это был молоковоз.

– Чего ты здесь ночью? – поинтересовался шофер.

– Из поезда выкинули, – объяснил я.

Мы отлично провели время, обсуждая сравнительные достоинства разных типов транспорта, оружия и женщин. В четвертом часу он высадил меня на окраине Хабаровска, сворачивая на молококомбинат. В расходящемся рассвете я пришел на вокзал, как вернувшись в дом родной. Купил чай с плюшкой и лег спать на скамейку.

Мой почтовый прибыл в семь двадцать. Я встречал его на платформе.

– Доброе утро! – со всем возможным счастьем поприветствовал я. – Нормально доехали, ребята? Я уж беспокоился!.. До Читы не подвезете? А то билета нет.

Я редко видел, как у живого человека чернеет лицо. Потом удавленники открыли рты и осквернили утро ужасными словами.

Холодильник

Погужуйся с бичами – узнаешь про город все. Оденься поплоше, загляни по задним дворам продмагов, по кустам напротив, по пунктам стеклотары и пивным ларькам. Но сначала проверь вокзал и автовокзал. Там держатся ночлега, или мелкого заработка, или халявной выпивки, или укрытия от недобрых глаз, или просто общения среди своих. Посчитай мелочь на ладони, прицепись к пузырьку корвалола в аптеке или флакону цветочного одеколона на полке. Поздоровайся с людьми, спроси про ночлег и подкалымить немного. Намекни, что в бегах, или есть причины много о себе не рассказывать, или вздохни: у тебя в городе все иначе, и заливай сколько хочешь – ты вступил в контакт. Можешь придымить окурок из специальной для того пачки – это оценят: у человека трудности, он привык.

Набравшись ума-разума от этих лоцманов хабаровского дна, я устроился на поденную погрузку на холодильник мясокомбината. Меня научили, и я заранее отыскал на помойке какой-то старый бушлат, чтобы не испортить свою одежду. Спецухи поденщикам не давали. Утром переписывали паспорт, в конце дня платили семь рублей. Это было очень нормально.

В первый же день я посетил, конечно, убойный цех. Зрелище. С одного конца баранов по проходу огромный козел

ведет, в другом углу коровы в загоне стиснуты, в третьем курей лапой в петли вдевают, и они плывут вниз головой на конвейере, а потом – кровища ручьями в стоки и туши тех, кто только что пришел. Тошнит и жутковато. А девчонки в белых халатиках смеются, переговариваются и бутерброды едят в перерыве. А халатики в кровавых разводах. Правда, бойцы все мужики. Зарабатывают все хорошо, я спросил. Обвыклись. Котлеты-то есть любите? На хрен, говорю, я с сегодняшнего дня вегетарианец.

На холодильнике было не столько трудно, хотя трудно, сколько простудно. Огромный низкий склад – рефрижератор. Задача поденных грузчиков – снимать с крюков сколько чего указано и загружать в фуры-авторефрижераторы во дворе. Двое наверху принимают, двое укладывают, остальные носят. Барана мороженого несешь на плече легко, свиную тушу на горбу без трудов, вот под коровьей уже тяжко, можно вдвоем. Но есть и легкие брикеты мороженого ливера, и головы, и ножки, в общем нормально.

Не могу даже сказать, зачем я заработал эти тридцать пять рублей. На билет до Петропавловска-Камчатского все равно мало. Видимо, для пущей уверенности я их заработал. С деньгами все проще.

После работы мы купались в Амуре. Я плавал у берега, приглядывая за барахлом. В кармане были документы и деньги. Но их никто не трогал. Их четыре дня никто не трогал, а на пятый украли все тридцать пять.

Вот было у меня такое ощущение, что бродяге работать противопоказано. Не его это дело. Заработанное не впрок.

Мужики с явной неприязнью, глядя в сторону, скинулись мне по рублю на несчастье. И с этими четырьмя рублями я должен был ни в чем себе не отказывать.

Пропуск

Пропуск в погранзону – это отдельная песня. Камчатка была погранзоной.

Пропуск выписывает КГБ. Областное или краевое. В Ленинграде – Литейный. Служба пропусков в пограничные зоны. Не все знали, что погранвойска – это не армия, а КГБ. Призывали-то в армию.

Я заблаговременно сходил туда узнать, что как. В коридоре очередь, на стенах «Правила» под стеклом – бронзой по черному, не как-нибудь.

Оснований три. Личный вызов, в смысле приглашение. К родне или даже можно друзьям. Но насчет друзей мне объяснили в очереди, что может и не прокатить. Могут начать спрашивать и проверять, сколько вы дружите, да правда ли это, да зачем тебе ехать. И без объяснений отказать.

Второе основание – вызов на работу. Это железно, автоматически, но такой вызов надо реально иметь, то есть ехать работать.

Третье основание – командировка. Раз командировали –

ну что ж, нет проблем, проформа. Но по закону!

Я поехал в Дом Прессы на Фонтанку, явился к ответсекру «Смены» Охотникову и предложил себя. Бесплатно. Я поеду на Камчатку, а по дороге буду слать им материалы. Только мне нужно выписать командировку. Без денег. Только бумажку.

Охотников смотрел на меня, как попугай на троцкиста. Он все допытывался, на кой мне это надо? В честную любовь к просторам Родины огромной он не верил. Ушел советоваться к редактору и передал резолюцию: «Авантюра». С чем и выгнал.

Визиты в «Вечерку» и «Ленправду» прошли по тому же сценарию. А почему вы не хотите взять командировку в вашей родной газете «Ленинградский университет»? Это был законный вопрос.

В до боли родном «Ленинградском университете» ко мне, заслуженному третьекурснику после двух дальних строек и с Золотым комсомольским значком ЦК, отнеслись с незаурядным жлобством и остались осмысливать пожелания сдохнуть всеми способами.

И тогда я отправился, как к разбитому корыту, в собственный филфаковский деканат, придумывая на ходу, что хочу журналистскую практику вместо музейной, и прямо сейчас. Мне любезно предложили выбирать любой пункт в границах Ленинградской области. Все суки были или хитрыми, или тупыми, или не хотели брать на себя никакой ответственно-

сти.

В состоянии абсолютной легкой наглости «терять нечего» я пришел к декану журфака. Вернее, к его секретарше. Вот мой студенческий, я собрат-филолог, хочу пройти практику на Камчатке, в деканате разрешили журналистскую вместо музейной, но сказали, что обращаться надо к вам. Мне было чуть-чуть неловко ее затруднять, я был совершенно спокоен, весел, учебный вопрос.

И! Она открыла ящик стола. Вытащила пачку командировочных бланков. С шапкой журфака ЛГУ, печатью и подписью. И мило уточнила:

– Вы для какой газеты писали? Куда вы направляетесь?

– «Камчатская правда»! – выпалил я наиболее вероятное. Своя правда должна была быть в каждой области.

Она заполнила бланк на мою фамилию и протянула. И тут мимо нас мужчина вошел в деканскую дверь. И бланк уже оказался обратно в столе.

– Знаете, – с легким беспокойством и сожалением сказала она, – декан вернулся… вы на всякий случай все-таки зайдите к нему… как он решит. Хорошо?

– Конечно! Спасибо! – радостно улыбался я и постучал к декану.

Декан был сумрачен. Все они при моих словах тускнели сумрачней сопли на морозе. Декан сумрачно вышиб меня за дверь.

– Ну как? – спросила секретарша.

– Конечно разрешил, – легко улыбнулся я, пожимая плечами и строя ей глазки.

И она отдала мне заполненное предписание. И я уходил с ним, как подвиг разведчика.

Разведчик поехал в КГБ и узнал, что оно не дремлет. В коридоре, под стеклом, бронзой по черному, русским языком, пункт 847-д, извещалось, что с момента подачи документов, включая нотариально заверенную копию паспорта, копию приглашения или командировки, справку из тубдиспансера и две фотографии 3×4 на матовой бумаге без уголков, – и до момента выдачи разрешения временного сроком до 30 суток на пребывание в пограничной зоне Союза ССР, – проходит 10 суток.

Лучше бы я совратил секретаршу без повода, она была очень милая, по виду студентка-вечерница.

Я впервые понял, что у меня нет сил и терпения жить дальше по советским законам. Остап Бендер недаром был любимым героем советского народа. Я поехал так. Внутренний голос говорил мне, что я как-то проскочу. Внутренний голос вообще оптимист. У него хорошее русское имя Авось.

…И с радостным авосем под ручку я вперся в Хабаровский КрУМ – Краевое управление милиции. Пропуска выдавали там же, я узнал. КГБ пренебрегало рекламой и афишами себя не оклеивало.

Народу почти не было. В соответствующей комнатке сидел крепенький паренек за тридцать.

Я обыденно поздоровался и скучновато, деловито положил перед ним заполненное заявление на пропуск. И рядом, вежливо, направление, студенческий и паспорт. И стал ждать, глядя в стенку.

– Погодите, – он остановился читать, – вы тут указали, что проживаете в Ленинграде.

– Да, – кивнул я.

– Так вы там почему не получили пропуск?

– Очереди были гигантские, – жаловался я. – Весь июнь сессия, просто нет целого дня сидеть.

– Мы не можем выдать вам пропуск, – сказал он.

– Как?.. – не понял я. – В каком смысле?

– Пропуск в погранзону выдается только по месту прописки.

Я не понимал и не верил:

– Так ведь в любом областном управлении… Вот мои документы.

– Документы ваши в порядке, вы их заберите.

– Но ведь я правильно пришел? В краевое управление? Вы выдаете?

– По месту прописки! Кто вам сказал про любое?

– На Литейном… в кабинете… я без очереди зашел с одним спросить… я не знаю, инспектор, или делопроизводительница… сказала, что могу в любом…

Я линял и сох на глазах, из уверенного и спокойного становясь растерянным, озадаченным, беспомощным, ужаснув-

шимся, впавшим в панику, уничтоженным и умирающим под пыткой.

– Я ехал по Сибири… – лепетал и терял сознание я. – Собирал материал… в областные газеты… чтобы первого августа в Петропавловске…

Я дышал и смотрел, вручая ему мою судьбу.

– Вас неправильно проинформировали, – с человеческими нотами констатировал он, понимая ситуацию и не одобряя ленинградских бюрократов, подводящих посетителей пустыми отговорками.

– Если б мне могло прийти в голову… я вас понимаю… – успокоил его я, взял себя в руки и вздохнул кратко и стоически о загубленном лете, сорванной практике, грядущем отчислении и так неожиданно не задавшейся судьбе.

– Погодите, – остановил он и кинул короткий взгляд мужчины на мужчину. – Это… важная для вас практика? С первого?

Я пожал плечами и упомянул без эмоций разбитую жизнь в образе вечернего самолета, на который я уже заказал билет. Каникулы. Командировочные. Урал. Забайкалье. Страна. Гроб с могилой.

– Если вы после обеда, в три часа зайдете, вас устроит? – спросил он.

– А?.. – посмотрел я, что это, о чем он. – А?..

– Два часа подождете, можете?

Я выразил междометиями и мимикой, что если только это

правда, то ради него я готов сесть на кол и закрыть амбразуру. Он скупо улыбнулся и сдвинул документы, не спрашивая дополнительных. Я вышел пятясь и дыша распятым ртом, как собака в жару.

Я зашел в три и получил пропуск в погранзону на Камчатку. Без всяких десяти суток, прописок и копий. В эту минуту я искренне любил человеческое лицо КГБ, пожелавшее мне через стол успешной практики.

Закон в России носит договорной характер. Я же чувствовал.

Влёт

В аэропорту я выстоял очередь на регистрацию и сказал, что билета нет. Денег тоже нет. Но есть настоятельная необходимость. На меня посмотрели с интересом, как на нештатную ситуацию. И рассказали о существовании диспетчера по пассажирским перевозкам.

В пассажирской диспетчерской висела рабочая ругань, сменившаяся идеальной тишиной при слове:

– Катастрофа!..

Этим словом я обозначил свое явление, качаясь, хватаясь за голову и мыча со стонами.

Диспетчерши, во власти магического слова, обратились на меня в ужасе и ожидании.

– Все пропало!.. – погибал я, порываясь прижаться к чьей-

нибудь груди за спасением.

– Что случилось?! – спросили они.

– Все случилось! – трясся я и терял сознание.

Автобиографию надлежало оформить в трагедию на пространстве одного абзаца:

Завтра первое августа. Меня ждут на практике в «Камчатской правде». Я ехал по Сибири, собирая материалы и пиша заметки, бедный и увлеченный студент. Я две недели работал на мясокомбинате на холодильнике, зарабатывая на билет, и когда купался меня обокрали. За неявку на практику меня отчислят из университета. Боже! Вот мой пропуск, направление, студенческий. Я знаю, что меня нельзя, но если хоть что-нибудь можно, ну я не знаю, потому что что же делать…

Доля правды, как запах мяса в сосисках, придавал моей синтетической смеси полную иллюзию съедобности.

– Фу, – сказали они, – вы нас напугали. Слава богу! Так к кому вы на похороны?

Я повторил на бис. Они смотрели добрыми глазами. Я весь перелился в кротость и скорбь, и надо мной засветился нимб Святого Себастьяна, пронзаемого стрелами несчастий.

– Действительно пропуск, – кивнули они. – Вот, направление. И студенческий. Света, посади ты его на пятичасовой рейс, там свободно. Вы где-нибудь рядом посидите пока.

Ха! Я сел прямо на пол напротив двери.

– Вы же, наверное, не ели? – позвали меня и дали чаю с бутербродом.

Света передала меня дежурной по посадке.

– Я экипажу скажу? – спросила дежурная.

– А, не надо ничего говорить, – махнула Света.

На трапе дежурная велела:

– Иди в первый салон, там пусто.

Я был среди последних в очереди и сел на свободное место.

Самолет шел часа три. Нас покормили, и очень кстати.

Над облачной пеленой показались снежные вершины камчатских вулканов. Это впечатляло нереальной красотой: темно-синее небо, белая равнина, и из нее вздымаются крутые серебряные пирамиды с зубчатыми срезами вершин. Нет, правда здорово.

Мы приземлились, и пограничники вошли в тамбуры проверять документы. Это замедляло выход, возникали вопросы, они помогали разобраться друг другу, и в результате когда я дошел из салона в тамбур, оба пограничника отвернулись к центральному салону, и никаких документов, никакого пропуска у меня никто не спросил.

Не задерживаемый, я вышел в дверь и спустился по трапу. Я был несколько разочарован. Процедура оказалась лишней.

В аэровокзале я завернул на телеграф и наложенным платежом отбил одно слово: «Прибыл».

Похмелье от ума

В общагу Камчатского пединститута я вселился как друг, товарищ и брат. Как я рада, как я рада, что мы все из Ленинграда. И после проверки моего студенческого требовать с коллеги семьдесят копеек в сутки за койку было крохоборством. Я заплатил им первые семьдесят копеек, а потом жил как хотел.

Абитура сдавала вступительные экзамены. Я нашел филологов, поговорил на конкурсные темы и стал учить их жизни. Жизнь – это была программа по литературе и темы сочинений, плюс ответы на вопросы по русскому устному.

Через пять минут я котировался как бесплатный репетитор-консультант с ленинградского филфака. Утром я в темпе блица отвечал на последние вопросы, наставлял и напутствовал на экзамены. Днем гулял по городу и общался с народом. После обеда происходили занятия. Никогда еще у меня не было слушателей более благодарных. Ловили каждый звук. Они за мной конспектировали, ты понял!

А вечером пили. То есть не все. А некоторые, сдавшие сегодня экзамен. И я с ними, в положении наставника. Тайная вечеря, или Плеханов в центре «Группы освобождения труда».

Патриархальность отношений учителя и учеников нас взаимно умиляла. С высоты трех превзойденных курсов я

одарял их знанием, нашпигованным советами и приемами. А они меня кормили, поили и платили семьдесят копеек за койку.

Каждое утро на тумбочке для меня светились бутылка пива и пачка сигарет. Золотые дети.

Пиво называлось «Таежное». Хороший местный вариант «Жигулевского». Под камчатского краба оно шло необыкновенно. Краб размером с тарелку, клешни по блюдцу, лапы толще пальца. Одного такого краба, большого и красного, как пожарный автомобиль, хватало посидеть на троих.

И вот разлепляешь глаза. Во рту вкус поражения: пересохшая горечь. Голова гудит тамтамом. Мысль о смерти приятна как вариант забытья. С ненавистью вспоминаешь, что жизнь – это борьба: надо побороть себя, встать и дойти до туалета. Да, поступать в институт нелегко. О господи, кто же мешает самогон с портвейном и пиво сверху.

Кстати, где мое пиво. Глотаешь, закуриваешь, появляется первая мысль о литературе: молодость классиков. Пушкин пил, Толстой пил, Саврасов вообще от пьянства умер, правда, он был художник. А портрет Мусоргского? о господи, чистый я.

Так. Женя вчера сдал на пять, а Саша на четыре. Нормально проставились. Интересно, как выглядит Общество трезвости? И есть ли оно в СССР?

Встал. Поймал равновесие. Утвердился вертикально. Прошел в дверь.

Валишь как пеликан: желудок поднялся в горло и болтается мешком под клювом, где зоб. Удерживать трудно.

Из умывальника – звонкая, свежая, юная речь:

– Вот это мужик! Не голова, а Дом Советов!

– Слушай, а память какая, как он столько помнит!

– А рассказывает как! Я таких вообще не слышал!

Это – про – меня?.. Меня. А то кого.

Самочувствие – отличное. Трезв. Ясен. Грудь вперед, живот втянуть, подбородок выше. Тверд в походке, строен сам собой. Весел, небрежен, сметлив.

Вот сероватые же ребята – а оценили! Все, что знаю, я им даю щедро, от души, излагаю так, чтоб самому интересно и здорово. Спасибо вам, ребята. Мне приятно помочь вам поступить.

– Это же надо – столько анекдотов помнить!

– Я торч словил, как он травит, живот заболел.

– Потрясно посидели.

Тошнит. Мир мерзок бескрайне. Воздух вышел, я уменьшился ростом, все кривое и дрожит. Проклятые уроды. И я урод. Выжидаю приличествующую паузу, вхожу в умывальник, твердо здороваюсь и запираюсь в туалете. Ушли там? Ушли, вроде. О звуки ужасные. О проза плоти. О муки духовного очищения. О чтоб вы все сдохли.

Вытираю слезы, высмаркиваю винегрет, моюсь холодной водой и возвращаюсь допивать пиво. Как горько разочарование в тех, перед кем метал бисер. Как опустошающа мысль

о тщете высокого искусства.

Нет, ну каковы пидарасы! Я им о великой литературе, все вехи в мир мудрых мыслей, а они в восторге, так от анекдотов, которых я в упор не помню как рассказывал, выпили много. Суки, лучше бы я ничего не слышал!

Литературные потребности и представления публики открылись мне. Над закулисьем адским огнем горело предостережение: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

Я впервые перестал ценить отзывы и мнения публики.

Изолятор

Восточное побережье Камчатки обслуживал теплоход «Николаевск». В отличие от «Петропавловска», который обслуживал западное. На уровне личных отношений надругавшись над всеми инструкциями, николаевский врач вселил меня в судовую медчасть. Его жена была одной из моих абитуриенток в общаге пединститута. Я был рекомендован с осторожной мерой теплоты, чтобы не вызвать ревности.

Врачи – самые полезные из людей. Я спал на кушетке с бельем в изоляторе, и четырежды в день официантка из экипажного камбуза ставила в окошечко поднос с судовым рационом. Потом мы с доктором пили его спирт и курили его сигареты.

Ему исполнилось двадцать шесть – на пять лет старше меня. Он плавал здесь второй год по распределению после ха-

баровского меда. Он никогда не был «на Западе» – западнее Урала – и брюзжал с иронией про одичание. С терпением интеллигента он вынужден переносить ограниченную умственную ориентацию мореманов. Он и взял меня как собеседника с университетским гуманитарством из города городов – Ленинграда.

Мы говорили об умном. О литературе и истории, политике и нравственности, психологии и справедливости, успехе и будущем человечества. В мужских беседах время летело. Через пару часов и пяток мензурок общим знаменателем всех тем оказывался закон, что жизнь – дерьмо.

– Ты посмотри, сколько я учился! – говорил он и прибавлял к одиннадцати шесть.

– А теперь смотри, сколько я получаю! – горько улыбался он и сбивчиво складывал плюсы с минусами, чтобы огласить матерное сальдо.

– А теперь скажи – можно так жить?! – требовал он и смотрел оценивающе, как палач на виселицу.

– Сколько это может продолжаться?.. – стонал он, как больная совесть. И начинал поносить Советскую Власть и глумиться над святынями.

К этому возрасту мои идеалы рухнули. Родной Комсомол и любимая Партия чем выше, тем из большей сволочни состояли. Жизнь была необъяснимо подла. В Истории не удавалось найти логику, не говоря о справедливости. Короче, преобладал негатив.

– Не может это долго продолжаться! – от злобы я говорил уверенно.

– Ты думаешь? – недоверчиво спросил он.

– Все прогнило! – наддавал я. – Никто ни во что не верит! Не может это долго продолжаться!

– Э… Люди работают. Всем деньги нужны. Рты заткнуты. Везде стукачи. Куда мы денемся…

– Изнутри сыплется!..

– Ну и что?.. Ты – думаешь?.. Кто ж его все сковырнет…

– Само рухнет! – убеждал я. – Все буксует, везде халтура, всем на все плевать!..

Мы выпили, запили, закурили и открыли иллюминатор, впуская морской воздух.

– Молодой ты все-таки еще, – укорил доктор.

– Я тебе точно говорю, я что, страну не вижу! – уверял я его с высоты неизвестно чего, что сам себе назначил.

– И сколько это еще продержится? – ни во что не верил он.

– Лет десять! И все!..

– Десять? Десять… Эта махина?! У тебя что, есть хоть какие-то основания так считать? Серьезно? Да брось.

– Да есть! Вот ну по всей логике, по приметам, понимаешь?

Через десять лет, в семьдесят девятом году, я в глухой брежневской полумгле покидал Ленинград и переезжал в Таллин, где брезжила хоть надежда издать книгу. Кислород был перекрыт по всему полю.

Через двадцать лет, в восемьдесят девятом, открылся Тот Самый Первый Съезд Советов. И вскоре все рухнуло, рассыпалось и накрылось.

А тогда, в августе шестьдесят девятого, мы пили с доктором спирт в его беленькой медчасти, и вместе со всей страной ругали советскую власть, в которой страна изверилась, и, само собой, мы так понимали, что любые изменения могут быть только к лучшему.

Мы разводили руками и вопрошали:

– Твою мать, сколько же могут эти уроды из Кремля нагло врать народу, причем сами в это не веря?

Репудин

В Долине Гейзеров Аллочка была самой красивой девушкой. На тот момент девушек в Долине было не менее десяти.

Я туда попал по записке. Золотозубый пионер с «Николаевска» составил записку в жестко романтическом стиле: «Костя! Прими его на ходку в Долину. После сезона расплачусь шкурами. Панкратов». С Панкратовым мы как-то курили у борта. Ветеран протежировал с высот своей бывалости.

С этой запиской, сгрузившись в Жупанове в плашкоут и отыскав на берегу турбазу, я деловито подкатился к начальнику маршрута.

– Панкратов? – прочитал и пожал плечами Костя. – Жди, расплатится он. Шкурами. Блядями он расплатится. Ладно,

хочешь – сходи, не жалко. Помоги там ребятам вьюки паковать.

Утром мы вышли вчетвером на четырех лошадях и семь вьючных. Верхом до Долины было полтора дня. Завоз продуктов на дальнюю базу.

– И туристов мало, а жрут как грызуны, – цыкал Костя и гонял папиросу в узких губах. Он был ковбоистый, щетинистый, поджарый.

Да, гейзеры булькали, фонтанировали, пари́ли и пахли. Если честно, после Петергофских фонтанов это не впечатляет.

А Аллочка впечатляла. Шестнадцатилетнее, русое, сероглазое, чистое и кроткое создание. Их девятый класс коллективно отправился в поход, дирижируемый географиней. Класс шлялся где-то меж луж и струй, а она плохо себя чувствовала и сторожила две палатки.

Я подошел, спросил, разговорился, подружился, и вообще делать тут было больше нечего. Она тоже скучала, но хорошо хоть поход, а так что делать лето в Пахачах.

Маленькие бичики
слетаются в Тиличики,
а большие бичи
заезжают в Пахачи.

Эту местную поэзию я уже мог цитировать.

Подвалил без коллектива переросток из их класса и стал

портить мне личную жизнь. Не уходит, и хоть ты тресни.

Для романтичного общения необходимо шампанское в любой реинкарнации. Момент назревает и тема озвучена. И Аллочка с детским заговорщицким видом открывает, что у нее есть бутылка спирта. Общественного. В рюкзаке. И мы с недорослем поем дуэтом, что если спирт потом разбавить водой, то от него не убудет.

Я гоню молокососа с двумя кружками за водой, Аллочка достает поллитровку со спиртом, заткнутую прочно оструганной шампанской пробкой; Костя проходит мимо, хмыкает и швыряет мне банку консервов и пачку печенья. Нет душевней опытного мужика.

И тут галдит и катится дурацкий смех на лужайке – класс возвращается! Мы с недорослем вливаем в себя по полкружки спирта, запиваем водой, зажевываем печеньем и признаемся, что этот спирт, похоже, один раз уже разводили. Не тот градус! Не цепляет даже.

Класс подходит, бутылка уже в рюкзаке, сумерки, костер, ужин. Ужин не лезет. В желудке неприятно. Не то отрыжка, не то спирт был технический. Аллочка клянется на ухо, что спирт медицинский, мама из аптеки взяла для походных нужд классу.

Я притаскиваю свой казенный спальник, в палатке места масса, устраиваюсь рядом и обуреваюсь романтикой, начиная со стихов и дальше что бог даст. А лежать что-то совсем противно. Что-то внутри шевелится. Чем-то в нос пахнет. И

бурчит, мешая развернуть лирику.

И тут недоросль спертым голосом из темноты беспокоится:

– Миша, ты как там?

После чего он на четвереньках по головам, как вспугнутый вурдалак, дунул из палатки, крякнул и исчез. Это подставило прекрасный повод с лицемерием пробормотать дежурное:

– Пойду посмотрю, что он там делает…

Я выкарабкался из мешка в прорезь палатки, сдерживая ускорение. Вламываясь в темные кусты, я заранее тянул рот вперед, подальше от штанов. Долина Гейзеров. Не видала ты фонтана от донского казака.

Аэо!!! Ослепило болью и ужасом. Из живота и через рот ударил сноп бритвенных лезвий. Они полосовали нутро в мелкую нарезку и жгли огнем. В глазах пульсировал фейерверк. Организм крючило в спазмах, и поддаваться несдержимым позывам было страшно в преддверии следующего приступа пытки.

Отметав эту икру и предназначенный издохнуть, я ощутил мировую тоску души, но уже в направлении противоположного выхода. Прыгающими руками я еле успел расстегнуть ремень и пуговицы. Змей Горыныч ударил огнем с другой стороны. Колючая проволока с битым стеклом продрала меня насквозь. Я не знал, что смерть так ужасна.

Через несколько лет боль немного утихла. Чернота Ада

не рассеивалась. Я привел себя в порядок и стал вспоминать биографию.

От палатки раздавался встревоженный гомон. С моим приближением в гомоне усилилась заботливая нота. Недоросль качался и стонал. Аллочка плакала. Географиня причитала. Остальные оживленно переживали нештатную ситуацию.

Деточка перепутала бутылки. Мы выпили смазку от комаров. По полкружки дефолианта. Типа диметилфталата. Яд пожиже. Репудин.

Второпях. А то класс уже возвращался. В полутьме палатки. Влили не глотая и запили водой, смыв вкус и дух во рту. И закусили. И полтора часа усваивали как могли.

На шум пришел заспанный Костя, скупо бурча. Хмыкнул, взрезал банку сгущенки и разболтал в ковшике водой. Мы с недоумком выпили вдвоем и поскакали в темноту, стараясь донести молоко подальше.

Бритв было уже меньше, и битого стекла тоже. У меня появилась надежда выжить. Слезы катились градом, искры из глаз освещали весь полуостров. Изодранное в лохмотья нутро жгло.

У палатки Аллочка с географиней протянули нам ковш с новым пойлом, как братину с живой водой израненным ратникам. Мы опростали и убежали.

За ночь мы извели пять банок сгущенки и ведро воды. Процедура принимала хронический характер. «Жить захо-

чешь – будешь пить молоко», – выстрелила мудрость из недоросля.

Утром взошло зеленое солнце. Оно поднималось по зеленому небу над зелеными просторами. Эх, молодо-зелено, сказал я, и мы с недорослем заржали, оба живые и зеленые. Руки дрожали, ноги не держали, головы тряслись.

Аллочка смотрела на меня с ужасом и жалостью, как на дохлую птичку.

Два дня я не мог есть, и еще неделю обжигался чаем.

– Ты что, совсем дурак? – спросил Костя. – Пей все, что горит, что ли? Лучше бы сразу стрихнину выпил. Меньше бы мучился.

Потом оказалось, что от этого подохнуть – как два пальца. Ослепших на целое УПП.

Комары еще месяц не подлетали.

Стойбище

С Иосифом Жуковым мы снова встретились на палубе «Николаевска». В Петропавловском педе он входил в нашу абитуриентскую команду. Поступил! И вот возвращается до занятий домой.

Мы курили на корме за ветром.

– Хочешь, поедем в гости, – приглашал он. – Поживешь пока.

В Караге, когда буксир дотолкал плашкоут с сошедшим

народом к берегу, Иосиф Жуков высмотрел среди лодок встречавшую и замахал.

– Мой друг, – гордо сказал он коряку в штормовке, сидевшему на моторе. – Перед экзаменами всех учил.

Мы час неслись вдоль берега и вверх по реке еще часа два.

– А сколько всего коряков живет на Камчатке? – глуповато и неловко спросил я, изо всех сил пытаясь как-то наладить беседу. Три часа молчания нервируют непривычного человека.

– Я ительмен, – сказал Иосиф Жуков. – Мать за коряка вышла.

– Любовь, – объяснил правивший Володя, брат мужа сестры матери отца и сам чей-то отец. Все занялись обсуждением родства. Их стойбище должно было быть размером с Нью-Йорк.

На отодвинутом от берега каменистом луге я насчитал четырнадцать яранг. До этого момента я как-то не совсем верил, что яранги еще действительно существуют, и в них нормально живут люди. В кинохронике быт народов Севера выглядит декорацией фольклорного ансамбля.

Меня пригласили входить. В яранге у очага возились по хозяйству две голые женщины. Молодая девушка и постарше. Я окаменел, сгорел и уставился в сторону без дыхания.

– В тундре так принято, – успокоил Иосиф Жуков. – Кожа должна отдыхать. Особенно зимой.

– Сейчас лето, – необыкновенно идиотски пискнул я. Не

то чтобы мне это не нравилось. Но парализовало. Густели сумерки, огонь в яранге их освещал, у них была желтоватая кожа, плосковатые зады, у старшей довольно большая отвислая грудь с фиолетовыми сосками, а негустые черные волосы на лобках почти прямые. Я на это не смотрел, я смотрел только в сторону, но все равно видел только их, во всех подробностях.

Иосиф Жуков им что-то сказал, они захихикали и надели мужские рубашки, закрывшие до колен.

Ели жареную рыбу с пшенной кашей и очень черный вареный чай с конфетами. Подошла старшая родня. Извинились, что нет выпить. А у меня, может, нет водки в мешке? Ну, на всякий случай… Водку им продавать было запрещено, узнал я впервые.

Мы повозмущались этой дискриминацией. О том, что они мгновенно спиваются, расщепляющих ферментов не хватает, я узнал поздней.

Спали рядом на шкурах, укрытые ватным одеялом.

– Хочешь быть с ней? – спросил Иосиф, имея в виду младшую. Кажется, это была его сводная (или единоутробная?..) сестра.

– Нет, спасибо, – отказался я вежливо, не в силах вписаться в ситуацию и очень недовольный собой и своим отказом. Зря им водку не продают, все было бы проще. Анекдоты о чукотском гостеприимстве все-таки представлялись трепом. А оказались нет. Ну-ну…

Наутро мужики ставили сетки в реке и пластали рыбу, собаки ели потроха и бегали от детей, бабы ушли за ягодой, а вернувшись варили и чинили. Август стоял.

В яранге я все время косился на нереально настоящий, голливудский, киношный, вестерновский винчестер. Слегка потертый, но ухоженный.

– Мой, – с привычным счастливым довольством сказал Иосиф Жуков. – Хочешь пострелять?

Хотел ли я пострелять из винчестера. Да я только это скромными взглядами и давал понять. Да я хотел это гораздо больше его сестры, которую тоже всю ночь хотел, мучась своим отказом, и еще сейчас не перестал. Сестер много, а винчестеров нет вообще. Я всерьез понял вычитанную из книг шкалу ценностей: сначала ружье, потом жена.

Иосиф Жуков пошарил в куче барахла по периметру яранги, выудил пачку патронов и сунул два в карман.

– Бери, – сказал он, и я взял винчестер и пошел за ним.

Винчестер был ловкий и легонький.

– Отец подарил на паспорт, – сказал Иосиф Жуков, – на шестнадцать лет. Старший сын охотник в семье, у нас это принято.

Он отвел рамку затвора, охватывающую спусковой крючок и прилегающую к шейке приклада, и послал патрон в магазин в цевье. Повторил возвратное движение и указал на консервную банку, блестевшую за ярангами. Метров сорок.

– Попадешь? – спросил он.

Я изобразил легкую обиду. Чудный миг хотелось тянуть подольше. Удивительно ловкая и легкая штука. И легкий спуск. И отдача неощутима. Банка подпрыгнула.

– Охотник! – грубо польстил Иосиф Жуков и забрал винчестер.

И тогда, презирая себя и эгоизм своей просьбы, я спросил про второй патрон. Он улыбнулся и дал, глядя в сторону.

Патрон был цилиндрический, удлиненная пуля закруглена. Я сам дослал патрон, сам взвел и попал еще раз.

За этими винчестерами, патронами и виски чукчи гоняли в метель через Берингов пролив на Аляску. За меха. Локаторы не брали упряжку. Природный тундровик снега не боится.

Дома у них принимали мех в план и сверх плана по малой цене. На сберкнижках копились десятки тысяч. Их нечем было отоварить. Дом и машина в тундре кочевнику невозможны. Ковры, свитера и японские транзисторы в упаковках «Только для Крайнего Севера!». Вся радость – выпить. А не продают.

На американской фактории ему без бюрократии записывали цену, давали что угодно и оставляли на счету сдачу. А что возьмешь, кроме выпивки?

– В тундре знаешь как? Два человека едут друг навстречу другу. И за километр, метров за восемьсот, упряжки разъезжаются. Таким полукругом, не приближаясь. И дальше едут.

– А зачем? Почему?..

– Откуда знаешь, кого встретишь в тундре? Что у него на уме? У каждого может быть оружие. И никто никогда не узнает.

– Ни фига себе… А я думал – доверие, взаимопомощь… А если знакомый? Родственник?

– Если только узнал. И то. Смотря кто. Жизнь. Народ зря делать не станет. Знаешь, какие случаи бывали.

И дули через границу с отборными шкурками. Бухло для счастья, ствол для престижа. Этот винчестер был выменян у арктических контрабандистов на мелкокалиберную винтовку и двадцатилитровую канистру спирта. Патроны доставались нечасто по тем же знакомствам.

…Лет через семь я увидел Иосифа Жукова на большой цветной фотографии в журнале «Смена». Корякский национальный ансамбль песни и пляски выступал в Кремлевском Дворце, Иосиф Жуков в расшитом бисером наряде завис над сценой в первой шеренге. А ведь могли породниться.

Икра

Счастье в жизни есть. Один раз я ел красную икру ложкой от пуза пять дней. При всей грамматической некорректности фразы ее радостный смысл не вызывает сомнений.

К числу недостатков Камчатки относится отсутствие железнодорожного сообщения с материком. С Камчатки можно только улететь. Еще можно уплыть, но это надолго.

Я провел в петропавловском аэропорту сутки. Милосердие цвело не здесь. Здесь предпочитали служебную триаду ценностей: деньги, закон и русский матерный. Нет денег? – нет любви.

Что остается бродяге, если не ломится проканать на ша́ру? Остается идти работать, как это ни противно.

Меня давно научили, где что почем. Я поехал в рыбпорт и предложил себя в грузчики. То бишь в портовые рабочие по обработке маломерных судов прибрежного лова. Шла путина, все упирались не разгибаясь.

Бригада из четырех-шести человек формировалась с утра. Притершиеся люди старались сохранять команду. Назначали на пирсы. РБ и МРСы подходили полные. Там в среднем полста тонн водоизмещения, обычное удаление двадцать миль от берега, но уж это как капитан решит.

Семь рыл экипажа шли на отдых. Принять стакан и поспать, иногда даже помыться. А мы решетчатыми лопатами сгребали рыбу в сетки и контейнеры, кидали на транспортер и очищали трюм. Потом гнали одного в диспетчерскую, и получали новое судно. И так далее. С темнотой включались люстры.

Так вот, отбирали в сторону несколько икряных самок побольше. Горбушу или кижуча. После работы – сетку над ведром, и протирали икру от пленок. В общагу с собой приносили полведра. На пятерых больше некуда. Только посолить.

И вот после работы мы обедали. Меню без затей: на каж-

дого полбуханки хлеба, поллитра водки и икры красной свежесоленой тут же – не ограничено. Книга о вкусной и здоровой пище.

Полстакана – бульк, и ложка икры, столовская мятая алюминиевая ложка, с которой светло-алая, нежно-упругая, обтекающая янтарным жиром и соком икорочка сваливается, не помещаясь в рот, и там во рту тает. И хлебушком зажевать. И повторить.

Вот что такое наслаждение развратом. А вы говорите.

Причем небрежно так. По-мужски. Сурово. Привычное дело.

– Она питательная. Очень калорийная, – заботливо говорили мы друг другу.

– Какие деньги. Так хоть пожрать. Будет что вспомнить, – говорили мы.

– С такой пахоты не вмазать и не покушать – хрен долго выдержишь, – говорили мы.

Зачерпывали миской из ведра и двигали насередь стола.

Через пять дней я с трудом остановился на пятидесяти рублях.

От пункта А до пункта Б

Боги погоды – синоптики – сделают козью морду хоть кому. В аэропорту спят на стульях, прилавках, на полу и на лестницах. Перешагиваешь через скрюченные тела, как На-

полеон в чумном бараке. На третьи сутки устают пить и тоскуют тупо и трезво. В Хатанге или Игарке можно зимой и на три недели засесть. Сейчас, ты что, ерунда, к вечеру улетим. И что? Улетели таки!

Ил-18 Петропавловск-Камчатский – Ленинград. Забит под завязку и еще несколько стоячих за дополнительную мзду. В Магадане кто-то сойдет, они сядут. Все курят, все пьют, все тертые с северов и востоков. Сквозь дым коромыслом стюардесса проталкивает тележку со спиртным. Чтоб не дай бог не протрезвели. План торговли, сервис. Эмблема «Аэрофлота» – бутылка с крыльями.

В Магадане дождь, темнеет, можно остаться в самолете. Я выхожу. Надо думать о будущем. Билет только до Магадана и пятнадцать ре на остальную жизнь. При посадке я машу руками дежурной на трапе, тычу в стюардесс в тамбуре и кричу о билете, который не могу найти, но я в Ленинград, у меня багаж в самолете, мое место 19В, и все меня знают, я из Петропавловска. Да я готов загрызть эту тварь, которая хочет оставить меня в этой столице всех зэков мира!

Я что, даром покупал дважды мерзавчики водки, и бутерброд с лососем, и сигареты?! Успевая сказать, что я после практики, лечу в Ленинград, и прочая пудра на мозги для незабываемости картины.

Две стюардессы дуэтом нейтрализуют дежурную и втаскивают меня внутрь. Соседи сохранили мое место. Отлично летим! Теперь тележку толкает не беленькая Ира, а темнень-

кая Наташа, и мы вообще друзья. Это ленинградский экипаж. Мы болтаем у них в закутке, кто где живет и куда ходит.

В Якутске экипаж идет на отдых. А борт принимает красноярский экипаж. Вот теперь надо держаться за самолет зубами и никуда не выходить! Н-но – в приказном порядке всех сгружают. Я наблюдаю, как в аэровокзале девочки честно говорят тетке из пассажирской службы, указывая на меня, и она кивает. Они уходят в гостиницу.

Н-ну? Дежурная на трапе, сухая щепка с внешностью старой девы, или старая сука с внешностью сухой щепки, говорит стюардессам, что билета нет, но просили, вроде потерян. Ее инструктировали – молчать! Падла не хочет ответственности, стюардессы не хотят меня, я им никто. Они адресуют головную боль как раз поднявшемуся командиру экипажа. Он хмур, в гробу видал всех, сойдите с трапа.

Факир был пьян, и фокус не удался.

У меня багаж в самолете!! Девятнадцатый ряд, вещмешок! А. Отдайте ему багаж.

Актив: есть самолет. Пассив: невпротык. Ночь, дождь, холод, поездов здесь нет. Якутск. Вечная мерзлота. Русский классический роман «Облом».

Я получаю совет послать запрос билетной службы в Петропавловск, уже утром могут подтвердить, и меня отправят первым свободным рейсом в Ленинград. Тебя бы первым свободным рейсом в крематорий. Спасибо, уже иду.

Ну чего. Сел на пол под стенку и стал вникать в атлас ав-

томобильных дорог СССР, который возил вместе с железнодорожным.

Утром с катером-перевозкой я переправился через Лену в Нижний Бестях и пошел на попутных на юг по Ленской трассе. И через четыре дня, через Алдан, Беркакит и Тынду, благополучно прибыл в Сковородино. А там поезда, Транссиб, можно сказать. Какие проблемы.

Ну так в наглости своей несказанной я в Омске отстал от поезда. Прочно укоренившись в общем вагоне и оставив мешок, я пошел тоннелем под путями на вокзал за мороженым. Усладиться душой. Что со мной может быть, и куда поезд может деться? Механическая отрыжка трансляции полоскала уши. Я фиксировал по часам двадцатиминутную стоянку.

Хвост поезда картинно болтался на стрелке. Я подпрыгнул, заметался, затопотал, и с драматическим воплем вперся сквозь проводницу в поплывший казанский скорый. От злости она щипалась с выкрутом, я извозил ее мороженым, которое жалко было бросить.

Мы нагнали мой полудохлый в Тюмени. Мешка не было. При мне рядом ехала воинская команда, там лежал десяток солдатских вещмешков, неотличимый мой при выгрузке прихватили до кучи.

Ха. Документы я всегда носил в кармане. А от Тюмени до Ленинграда рукой подать. У дежурного по вокзалу я получил чудную справочку: отстал от поезда, вагон, место, описание багажа. А ваш билет? А в вагоне на столе.

Невелик багаж, но без него вовсе свободно! Дорожное осталось дороге.

Я был легок и обустроен, как Диоген. У меня были документы, два рубля и индульгенция.

Я думал

И ни о чем я не думал. Не думал о том, как добры люди, и как огромна страна, и как длинна и счастлива жизнь в двадцать один год. Не думал о препятствиях и трудах, разлуках и предательствах, счастье и горе, и даже о смысле жизни и бренности бытия ни хрена я не думал. Это прямо удивительно, я не думал о том, как сложатся судьбы, куда катится мир, что будет вместо обещанного коммунизма, какая будет зарплата, сколько сантиметров ширина брюк, и вообще где я буду жить и как жить. Я не думал нисколько о справедливости и борьбе за правду, о своих грехах не думал абсолютно, о несовершенстве людском и тщете усилий, о мировой революции и будущем культуры не думал вообще; не думал о добре и зле, страдании и покое, победе и воздаянии, и даже об устройстве мира не думал, цветок бездумный, безмозглый.

Я не думал о личном и общественном, о Родине и истории, меня не волновали слава и позор, гений и злодейство, правда и ложь, белое и черное, вчера и завтра и хрен редьки не слаще. Живы будем – не помрем.

Дул ветер. Золото летело за окном. В пустом вагоне две разбитные проводницы и ушлый старшина-сверхсрочник готовили стол из канистры чачи, домашних колбас и редиски с луком.

А я курил за столиком и читал книжку Вадима Ковского «Романтический мир Александра Грина», купленную на последний рубль на свердловском вокзале, и все тянул этот миг, все тянул и тянул.

Средняя Азия

Гитара Фрунзе

Мое знакомство со Средней Азией началось с того, что в доме Михал Васильича Фрунзе я получил по шее. Я всегда скептически относился к нравственному облику героев Гражданской войны.

В одноименную столицу Киргизии город Фрунзе я прибыл без злого умысла и в прекрасном настроении. Здесь было уже тепло. Первобытное слово «Бишкек», похожее на проглатываемый камень в горле, еще не существовало. Я собирался перекусить и передохнуть после поездов и попутных. Тимур умер, и Средняя Азия принадлежала мне.

По улице шли три девушки провинциально-студенческого облика, и зря идти им было совершенно незачем. Я спросил, где музей Фрунзе, и включил язык. Через полчаса, осыпая пудру с мозгов, они дружелюбно кормили меня в столовой. Когда желудок стал давить в подмышках, я записал адрес их общаги и перешел к культурной программе.

Кочевали они здесь тысячу лет, и еще бы тысячу лет кочевали, если бы не господин генерал-губернатор. Царская армия пришла в Туркестан, и народ влился куда надо. Город был безлик, как размножившийся кирпич. Обильная зелень

придавала ему приличия.

Однако семья революционера и каторжанина Фрунзе жила в радостном достатке. Пока не вымерла поголовно согласно Природе и Советской власти. Но дом сохранился в бережности. Вокруг дома и был построен музей, как павильон вокруг экспоната.

Хотя скорее как скорлупа вокруг яйца. Музей был белый, каменный, гладкий, и такое ощущение что запачкан пылью и пометом. А внутри был аккуратный, прочный, объемистый сруб. Двускатная крыша сруба желтела крашеным железом. Длина жилища напоминала Ноев ковчег. С торца был вход, вдали выход, а между ними – анфилада комнат.

Проход был обвешен плюшевым канатом. По сторонам открывался скромный достаток дореволюционных интеллигентов. У нас за такой достаток сажали. По неясным слухам, семь комнат было только у членов Политбюро и грузинских подпольных миллионеров. И все эти комнаты были чем-то, черт возьми, заполнены! От слоников на салфеточках до красных комодов и гитары с бантом на стене.

Никаких служителей видно не было. На меня выжидательно щурились два местных охламона. Я нырнул под канат и провел пальцем по струнам. Гитара была настроена! Ну. Конечно снял.

Вот что. Когда приезжаешь из Ленинграда на окраины, то по отношению к местным святыням испытываешь комплекс колонизатора из метрополии. Хочется ездить на рикшах и

плевать в них косточками.

Я расположился в кресле, закинул ногу на ногу и забренчал мелодию в границах своего слуха. Как раз на трех блатниках. Кто не знает – это три (простейшие и основные) аккорда на семиструнке.

Я чувствовал себя Миклухо-Маклаем на рояле. Папуасы заплачут при расставании. Два папуаса подошли к барьеру и умирали от счастья.

Явилась судьба, и она выглядела гораздо хуже и злей одноименной темы Бетховена. Костлявая старуха держалась за швабру, как Смерть за косу. Первым делом она скосила мою аудиторию.

Пока охламоны защищались от швабры, я аккуратно повесил инструмент на гвоздик и стал удаляться по проходу, стараясь совместить скорость с достоинством. Достоинство было лишним. Старая карга включила третью передачу и лупила меня своей поганой шваброй по загривку. Так я впервые услышал киргизские ругательства. Это вводные слова для обрамления русского мата.

Швабра казалась грязной и оказалась таковой. Я отправился искать колонку и застирываться.

В тени мужики пили пиво: в ларьке было. Я спросил, где милиция: меня возили по земле и отобрали деньги, вон там.

Мужики мгновенно вычислили, кто меня бил и грабил, посоветовали не связываться и угостили пивом.

Не сходя с места, я узнал много полезного о милиции,

киргизах, взятках и быстрых мелких заработках. Будь проще, и люди к тебе потянутся.

Особенно они одобрили анекдот с местным колоритом, как Василий Иванович Чапаев возвращается из Москвы, где в Академию поступал, грустный-грустный. Петька спрашивает:

– Ты чего, – спрашивает, – Василий Иванович, такой грустный?

– Знаешь, – говорит, – Петька, меня Михал Васильевич Фрунзе птичкой обозвал.

– Какой еще птичкой?

– Ну, эта… такой… – и стучит пальцем в стол.

– Дятлом, что ли?

– Да нет… ну, эта…

– Синичкой?

– Да нет! Долбоёбом.

Дорога

Я пил зеленый чай. Плеснул в пиалу, вылил обратно в чайник, и повторил несколько раз. Чай должен перемешаться, подышать и чуть остыть, и тогда уже настояться еще немного. Тогда пить.

Поллитровый чайничек стоил без сахара пять копеек. Это я себе позволял часто. В жару без чая жажду не утолить. Вода проходит с потом, хоть канистра.

Я сидел в тени гигантского южного дерева, о названии которого не задумывался, пил чай, курил самокрутку и мечтал о мясе. Мясо было баснословно дешево, но мне недоступно.

Мангал дымился, баранина пахла, шашлычки румянились в ряд. Пять кусочков мяса на короткой палочке: двадцать пять копеек. Компания дальнобойщиков зависла над грудой таких шашлычков. Они чавкали и хрустели, распрямляясь только для упражнения «взмах рукой прогнувшись». Чайханщик только оттаскивал водочные бутылки.

Судя по напору, дальнобойщики задвинули хорошего левака. Их фуры загромождали всю обочину. А местное ГАИ выпивку приветствует. Это стоит пять рублей с человека. Если остановят и понюхают.

Чужой шальной достаток наводит на горькие мысли люмпен-пролетариев. Могли бы и обратить внимание на еще одного русского в этой туземной забегаловке. Могли бы и поинтересоваться, почему он пьет пустой чай. Это ж надо столько жрать!

Особенно раздражал лысый запорожец-единоличник. Помесь хряка с казаком. Он приволок дюжину шашлычков, на треху, значит. Большую лепешку и бутылку водки. И все это хмуровато истреблял за отдельным столом. Рабочая аристократия. Если бы взглядом можно было повредить здоровье, чума и холера спорили бы над его трупом.

Я купил в магазине четверть огромной белой ковриги за восемь копеек, наелся и лег отдыхать позади магазина. Да

там и переспал ночь.

С рассветом по холодку шагать необыкновенно приятно. Хождение за три моря. Но мы еще дойдем до Ганга! К восьми я вышел на большую самаркандскую дорогу и стал ловить попутки.

В среднем встает одна машина из двадцати. Но был не мой день. Машины шли редко. И ни одной до Самарканда. Они подбрасывали меня по прямой кто двадцать километров, кто шесть, и сворачивали на свои проселки.

Высадки с пятой я запомнил разбито ползущую шаланду. Она осела, перегруженная рядами автомобильных двигателей в кузове. Потом мы ее обогнали, ее все обгоняли, потом меня опять ссадили, и она проползла мимо. Она перемещалась в пространстве, как борющийся с параличом Бармалей. Я перестал ей голосовать.

После десятой встречи она сбросила звук на нейтралке, прокатилась и встала. Шофер высунулся в правую дверцу и сделал жест:

– А ну, хлопец! Поди сюды! Ну иди, иди!

Я подошел. Он велел:

– А ну, сидай!

Я влез. Дверца захлопнулась с металлоломовским лязгом. Шофер воткнул скорость. Машина застонала, заныла, заскрежетала, и с воем умирающей авиабомбы стала медленно разгоняться до сорока километров.

За рулем сидел двенадцатишашлычный запорожец. Ли-

той бритый кубик под пятьдесят. Он сосредоточенно смотрел вперед и сопел. Покосился и спросил:

– Много вас здесь сегодня?

– Кого – нас?

– Ну, як ты.

– Каких как я?..

– Ну шо ты придуряешься!.. – Он охарактеризовал мою бородку, серую застиранную куртку с серебряными пуговицами и рюкзачок.

Все мои силы уходили на борьбу со сладкой ухмылкой. Его встревожила галлюцинация.

– Вчера с хлопцами выпили, так седня голова болыть, – жаловался он. – Горилка дурная. А вы еще здесь кажные десять километров стоите. Ось уси як ты! Як суслики – встали и стоят. Человек наверно пятнадцать. Что ни полчаса – то стоит! Да шо у вас тут задумано?

– Комсомольская эстафета, – сказал я.

– Яка така эстафета?

– В Самарканд.

– Для чого?

– По местам исторической славы.

– А-а… Так а чого усих в один автобус не посадили, да и повезли?

– Я же говорю – эстафета!

– А-а… ну да.

Он думал.

– Еще вас много впереди?

– Нет, я самый передний был.

– Ну слава богу. А то я вже боятыся стал. Шо, думаю, за дило! Еду – стоит, и опять стоит, и опять! Выпил, може, много, так и немного. Може, с головой…

Машина задыхалась на затяжном двадцатикилометровом подъеме. Дорога перевалила прорубленные в ущелье «Ворота Тамерлана». Углубленный в похмелье шофер подвигал носом:

– Ты не чуешь? Как масло горит… или резина?

Он встал у арыка в вечерней тени, и вонючее пламя поднялось над задними колесами. Масло высохло, рессоры сплющились, раскаленные докрасна диски зажгли баллоны. Оглушительно лопнула первая покрышка.

– Бисов сын, одно горе от тебя! – вопил запорожец, швырнул мне второе ведро, мы плескали воду из арыка, уже встали в помощь двое с огнетушителями. Пламя сбили.

Закурили, осмотрели вчетвером, пришли к выводу, что сменить только одну камеру, а на базе в Самарканде скаты есть, доехать можно.

– Я тебя больше не повезу, – отрекся запорожец. И обратился к «колхидчику» с огнетушителем: – Подвези его до Самарканда. У них тут эстафета. – И пробурчал в сторону: – Нехай теперь ты с ним помучишься.

Анекдот

Когда Самарканд был столицей великой империи, там таки было на что посмотреть. Пятьсот лет сильно меняют внешность. И Шер Дор, и Биби Ханум, и Гур Эмир блистали лазурной вязью и громоздились, как форпосты Истории, сквозь которые дышит мощная энергетика прошлого. Так ветер из ноздрей дракона сдувает все вокруг. А вокруг была всякая фигня. Пыль азиатской провинции.

Во время Войны Самарканд наряду с Ташкентом был центром эвакуации. Сюда перевезли институты, заводы и военные училища. Кварталы лопались от беженцев. Некоторые из них, кому некуда оказалось ехать после войны, прижились здесь. Пестрый городишко шумел интернационально.

Это мне рассказали в пивной у базара. Маленькая кружка пива стоила одиннадцать копеек. За двумя длинными столами под навесом гвалт стоял адский. Быстро жиреющие узбеки в тюбетейках, сухие каракалпаки в черных тельпеках, татуированные старые волки с зон и мелкая русская блатота беседовали за жизнь и решали вопросы.

Если город начинается с базара, то самаркандский базар вообще был сам себе город. Сюда съезжались издали, и площади было не видно за теснящимися пирамидами изобилия. Желудочный сок растворял меня изнутри.

Золотые фугасы, исходящие медовым духом хорезмские

дыни продавались по восемь копеек за килограмм. Зелено-алые сахарные арбузы – семь копеек кило. Атласные помидоры – семь копеек, изумрудные огурчики – шесть. Яшмовая прозрачная шрапнель винограда – пятнадцать копеек. Слова мои жалки, а на самом деле меня качало.

Одна сволочь написала: «Хоть видит око, да зуб неймет». Тот самый случай.

За время бродяжничества у меня развилась клептомания, профилактически ограниченная Уголовным кодексом. Руки в автономном режиме присваивали все, что плохо лежит. Ненужное приходилось выкидывать. Я долго таскал градусник, спертый со стенки на почте, где совершенно нечего ему было делать, но его вечные сорок три днем перестали развлекать, и я его тоже выкинул.

В пыли лежала детская флейта. Красная пластмассовая игрушка длиной с карандаш при шести дырочках. Обронили и еще не раздавили. Я ее обтер и подул без всякой мысли. Видимо, чтоб в рот хоть что-то сунуть.

Ближайшие торговцы посмотрели из-за своих баррикад. Я мобилизовал слух и озвучил «чижика-пыжика». Томясь жарой и скукой, они следили ленивыми детскими глазами, там спали любопытство и жестокость.

Вдохновение взлетело из желудка в голову и подчинило меня. Я укрылся в кустах за забором и изготовился к выступлению. Правую руку вытянул из рукава и спрятал в штаны под ремень. Пустой рукав висел. Из рюкзачка достал свою

панамку и придал ей форму шляпы. И с дудочкой в кармане пошел на перекресток двух проходов.

– Граждане, – сказал я и поклонился на четыре стороны. – Товарищи, – обратился я и выпустил рюкзачок из руки к ногам. – Я, как вы видите, однорукий флейтист.

Вольные декхане и кооперативные торговцы сосредоточили на мне внимание и непонимание. Эту театральную хохму здесь знать не могли.

– Сейчас я вам поиграю, – объявил я голосом инвалида в электричке.

Левой, единственной, рукой достал из нагрудного кармана флейту, посвистел, скача пальцами, бессмысленно-громкое и повторил несколько раз «чижик-пыжика».

– А теперь, люди добрые, подайте кто сколько может!..

Я опустит дудку. Из ширинки высунулся длинный и розовый, свернувшись как хобот уцепил дудку, освободившейся рукой я снял шляпу и протянул с поклоном.

В первую секунду все в ужасе смотрели на ширинку. Вторую секунду в изумлении соображали, что же это и как же это так. В третью секунду опознали увиденный совсем как палец и вообще ну точно же палец. Еще две секунды вид пальца, высунувшегося из ширинки и сжимающего флейту, соотносился с анатомией моего тела.

Потом раздался истошный визг и вопль, переходящий в обвальный судорожный хохот. Вскрикивали, шлепали руками в бока, указывали друг другу и терли слезы.

Я прошел у прилавков, покачивая дудкой и подавая шляпу. Мне положили помидор, огурец, хвостик винограда, поллепешки и мелочи.

Я вытащил руку и застегнул штаны. Зрители были в восторге. С дальнего конца базара пришли узнать: бьют вора или кого зарезали? Им замахали на меня, объясняя, чего они лишились.

По коллективным просьбам трудящихся Востока я повторил выступление в другом конце. Реакция была еще более массовая и радостная, потому что народ предупреждал друг друга и предвкушал.

Мой гонорар бродячего артиста переложили в коробку. Там была еще четверть дыни, горсть урюка, кусок халвы и ломоть брынзы. Мелочи всего набралось почти рубль.

Этот иллюзионизм в жанре пип-шоу удачно вписался в эстетику светского ислама. Могли бы и убить. Но народу сильно не хватало эротики.

Я прожил в Самарканде шесть дней, ночуя на автовокзале, который не закрывался. Но на базар больше не ходил. Туда меня не пускало чувство художника. Нельзя портить шедевр уступающими ему повторениями.

Концерт

Железная дорога расходится из Хаваста на три стороны: к северу Ташкент, к востоку Фергана, к западу Самарканд.

Эта кочка на ровном месте работает узловой станцией. Конкретно на вокзал я прибрел к полуночи: влезть в темноте в какой-нибудь из проходящих пассажирских.

Вокзал был типовой российской архитектуры начала девятисотых: два одноэтажных крыла вдоль перрона и выход из кассового зала в центральной ротонде. Медный колокол, красная фуражка, Анна Каренина и теплушки гражданской войны.

Что характерно, народу было много, и все русские. Движение в расписании значилось насыщенное. Найдя место, я читал оставленную кем-то газету и поглядывал через ряд на компанию с гитарой.

Эти местные пацаны играли на уровне двора и в антрактах пили портвейн. Примечательно то, что на самом полуинтеллигентном алела футболка с портретом Че Гевары; по моему разумению, им вообще знать не полагалось, кто это, учтите место и время, гибель Че была еще свежа, легенда начинала возникать на Западе, просачиваясь к нам через элитные контакты. В эдакой глуши я с некоторым неудовольствием обнаружил конкурента по разуму. В супердефицитной на зависть майке.

Они бренчали и гнусавили свою шпанюковскую романтику, негромко так, неагрессивно. Вокзал служил им клубом. А я поглядывал, как они берут аккорды. Они прихватывали басы большим пальцем и сбивались, когда били восьмерку. Дети подворотен.

Моя полубородка, взгляды и куртка с серебряными пуговицами были ими выделены.

– Парень, вы откуда? Куда едете? С нами, может, посидите? – с церемонным уважением и на вы.

Я был приглашен, посажен и обслужен. Скучали они. Любопытствовали.

– Может быть, выпьете с нами? – Стакан портвагена и конфетка.

После круговой вернулись к гитаре.

– Вы так смотрите. Вы сами, наверно, играете?

Ну, я им сказал, что немного, но тихо петь не умею, так лучше пойти на воздух. Мы вышли к двум лавочкам под звезды и сели на спинки. Я попросил еще конфету для голоса, чтоб не сорвать, и получил стакан к двум конфетам.

А теперь несколько слов, что такое была песня под гитару. На пластинках их не существовало. Магнитофонов еще почти ни у кого не было, дорогая редкость, владельца мага звали с тяжелым катушечным ящиком во все компании. Пленок не достать. Переписать было негде и не с чего. По радио их не передавали, по телевизору тем более. Тексты не издавали, упаси боже, ноты сами понимаете. Живой устный фольклор. Не зная фамилий.

В Москве и Ленинграде гнездились клубы, компании, общение, студенты и молодая интеллигенция. В областных городах уже не знали почти ничего. В глубинке пели официальный радиорепертуар и матерные частушки.

Авторская песня была неподцензурна и свободна, она была политическим протестом уже по факту существования, она была действительностью души вопреки приказному лицемерию и приличию.

Она началась давно, после войны, с «Неистов и упрям…» Окуджавы, а после хрущевского XX съезда распустилась в рост, и появились Городницкий, Галич, Кукин, Анчаров и много, много. А только что, в 67-м, вышла «Вертикаль» с четырьмя песнями Высоцкого, и это был взрыв, прорыв, обвал и атас.

Песня с гитарой – это то, что было нельзя – но было можно, чего не было – но на самом деле оно именно и было. Это был выход из государственной идеологии в пространство всамделишной твоей жизни.

Во как я изложил. Так сложно не думали. Вот как самурай учился стихосложению – приличный пацан хотел уметь играть на гитаре. Я оттачивал квалификацию в общаге и дурдоме. Так себе исполнитель. За неимением лучшего в своем кругу. Не столько голос мал, как слух туг. Шесть блатников на семиструнке плюс мелкие примочки.

Но когда на тебя смотрят – ты наполняешься значением зрительских ожиданий.

Я откашлялся, порыкал и взял «Як-истребитель». Начал я тихонько, издалека, а после «ми-ии-ирр ваш-шему до-муу» взвыл, наддал, загремел струнами и заорал все громче до надрыва с хрипом. Я громко могу орать с хрипом. Высоцкий,

конечно, лучше. Милые мои, да где ж его взять, кто ж его на той станции видел и слышал. Я хуже… но тоже громко, местами даже очень громче. Я вел по памяти его исполнение, с чувством на отрыв. Я взмок и пробил по струнам финал, подражая слышанному.

Народ безмолвствовал. Они ж не меня слушали. Они песню, перенесенную мной, слушали. Это ж было – неизвестное, никогда не слыханное, ни на что не похожее, убойное! Я протянул руку, взял зажженную сигарету, сделал две затяжки и отдал обратно.

Общение меняет тональность, когда у тебя начинают дрожать пальцы. Твои вибрации расходятся в окружающее пространство.

Дальше была «Как призывный набат», я редкой горстью рубил дробь по струнам в такт и топот. И тут что-то стало происходить. Не то кругом, не то во мне. Не то чтобы это было про нас – наша сущность и наша жизнь, потери и надежды наши и были этой песней.

Никогда ни до, ни после я не попадал в каждую ноту и не вытягивал все, что хотел.

В разном ритме и дыхании мешались «Караганда» Галича, «Парашютисты» Анчарова, «Перелетные ангелы» Городницкото, «Сапоги» Окуджавы и много еще чего, я сам не все знал, откуда чье. Нет, ну я специально еще чередовал, чтоб песни шли разные, неожиданные, по контрасту. Милые, если бы можно было передать прозой силу и чувство поющихся

ночью стихов, вы бы сейчас рыдали беспрерывно.

Коридорные шаги злой угрозою, было небо голубым, стало розовым, заиграла в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь с итальянского. Простите пехоте, что так неразумна бывает она, всегда мы уходим, когда над землею бушует весна, и шагом неверным, по лестничке шаткой, спасения нет: лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед. Три дня искали мы в тайге капот и крылья, три дня искали в тайге Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного не дотянул он до посадочных огней. И крикнул Господь, эй, ключари, отворите ворота в сад, даю приказ: от зари до зари в рай пропускать десант. Капитана в тот день называли на ты, боцман с юнгой сравнялись в талантах, распрямляя хребты и срывая бинты бесновались матросы на вантах!.. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты в маленьких асфальтовых южных городках… Вот все это и многое другое пел я, отдавая выше невеликих своих умений, черной ночью на станции в Хаваste.

А кругом давно стояло все население вокзала, все прохожие, дежурная, смазчики, милиционер, вокзальная проститутка, гулявшие пары, поздние пассажиры, бичи, хулиганы, лица толпы белели, и они слушали; глаза их отблескивали под фонарем, от них исходило все самое лучшее, самое чистое и благородное, мужественное, доброе, они смотрели на меня, будто я был значительнее их, я был как в фокусе всех лучей, и я готов был сейчас умереть за них, вот за таких, и

за то, чтоб это как можно дольше не кончалось.

И когда, после энного стакана и конфеты, я заревел «Спасите наши души!!!» в отчаянии и ярости на всю округу, а гитара уже рвалась и трещала, я был не я. Да я вылупился из себя и взмыл на мощных крыльях, как орел мог вылупиться из серого воробья! Я был миссионер и просветитель, предводитель, художник, акын и гомер.

И одновременно какой-то неприкаянной клеткой мозга я сознавал себя самозванцем, калифом на час, притворяющимся звездой и суперменом и буквально подменяющим собою Высоцкого, без спроса и оповещения. Словно я узурпировал то, что ему причиталось и принадлежало. Ведь они, которые слушали и внимали, не знали ничего, им сошло откровение. Счастье мое было неловким.

Я закончил в половине третьего. Два часа без перерывов. Я протянул гитару владельцу, выпил последний стакан, закурил и сипло сказал: «Все». Толпа постояла и помолчала.

Подошел ташкентский скорый. Проводы меня походили на похороны Ленина впечатленным пролетариатом. Меня подали с рук на руки знакомому проводнику и сказали, что вот этот доедет докуда сам тебе скажет. И если не доедет, ты больше здесь можешь не проезжать, мало тебе не покажется, ты понял? Народ видишь? Вези как следует.

Утром я проснулся на верхней полке в служебке и слез попить. Пряча глаза, проводник сказал, что скоро пойдет ревизор, и надо заплатить. Он обещал, он уважает, но ревизор

ведь.

Я сошел на ближайшей станции, сказав проводнику, что он скотина. Всю ночь я отдавал себя людям. Они меня на руках носили. Но его там не было. Сукин кот.

Когда я протрезвел, то разобрался, что они посадили меня не в ту сторону.

Чечены

Попутная полуторка ГАЗ-51 была колхозной. Шофер прямо даже извинялся, что скоро свернет к себе и оставит меня на дороге, на ночь глядя. С одной стороны белел хлопок, а с другой зеленели сады. Ферганская долина вообще напоминала картинку из книжки об изобилии братских народов. Если смотреть издали, конечно. Пейзаж вообще красивее всего из окна автомобиля.

Шофера звали Руслан, и я сказал, что он не совсем похож на узбека. Он был чеченец, в его ответе как бы звучали достоинство и вздох.

Ну, я и спросил, что чеченец делает в этой впадине глобуса. Ну, он и ответил, что не по своей же воле живем. Через приличную паузу я вежливо спросил, за что сидел. Он посмотрел странно и сказал, что сидеть не собирается.

Дальше звучал интересный диалог сдержанных мужчин. Я пытался понять, почему он, его семья и все его родственники, чечены, природные горцы Кавказа, живут здесь, раз не

очень и нравится? А он не мог понять, что мне непонятно.

Потом он рассказывал мне о депортации сорок четвертого года. Я не то чтобы раньше не слышал. Я ни о чем подобном вообще не слыхивал и помыслить не мог. Дикая антиутопия. В СССР этого не могло быть! Клевета врагов! Пытающихся ссорить советские братские народы.

На повороте он затормозил. Мы подождали его напарника на машине сзади. Вышли перекурить на прощание. Второго звали Борей. Если Руслан был светловолосый крепышок с прямым ртом, то Боря выглядел вполне кавказцем: чернявый, масляноглазый, с шерстью из-под рубашки.

– Слышь, – кивнул Руслан, – он не верит про депортацию.

– Э-э, народ ничего не знает, – махнул Боря. – Молодой, откуда ему.

Он был всего-то лет на пять старше меня. А Руслану под тридцать.

– Слушай, темнеет уже, – сказал Руслан.

Еще не темнело.

– Машины не ходят уже, – сказал он. – Поедем ко мне, переночуем. А утром я тебя до этого места довезу. И поедешь дальше.

Мне было неловко.

– Ты что, на земле спать будешь? – спросил Боря.

Руслан жил в небольшом обычном домике с глиняным полом. Мы помылись под рукомойником во дворе и сели на ковер в передней комнате. Жена накрыла ужин, увела двоих

детей и больше не показывалась.

Мы заканчивали поллитра, когда подошел и Боря с трехлитровой банкой домашнего вина. Это коварный компот: градусов не ощущаешь, а потом ни встать, ни замолчать.

В тот вечер я много узнал об истории Чечни в народном изложении. Вино на водку возбуждает к речам, и мы пили за все хорошее.

Вера в себя укрепляется пропорционально выпитому. Поняв свое величие, я смог управлять будущим и открыл это в тосте.

– Меня зовут Миша, – сказал я, – и вы запомните хорошо, что я сейчас сказал. Мое слово – верное. Пройдет десять лет – и вы вернетесь в Чечню. Вы еще будете молодые. Ваши дети еще будут детьми. Ваши родители еще будут живы. Вы будете жить на своей земле. В своих домах. У могил своих предков.

Во мне вещал пророк, и паства внимала со слезами. Точнее не помню. Помню продолжение после стакана:

– Я хочу, чтобы вы знали, что не все русские плохие, – развивал я мысль, с которой и был отнесен спать.

Прошло не десять лет, а двадцать. Чеченцы вернулись на Кавказ. Русские были изгнаны с жестокостью мести и этнической чистки. Начались чеченские войны.

Поистине, будь осмотрителен в молитве, ибо она может достигнуть ушей Всевышнего.

Гей узбеки

Я не герой, но бываю раздражительный.

В Бухару со скрипом и всхлипом приехали в полночь. Это был поезд местного сообщения, жертва разрухи 1918 года. Билеты здесь были лишними, как галстук в бане. Проводник пробирался среди узлов, собирая посильную мзду. Русского он поощрил бесплатно, демонстрируя политическую лояльность.

К особенностям Бухары относится ее расположение в двенадцати километрах от станции. Станция называется Каган. Последний автобус из Кагана в Бухару ушел час назад.

Вокзал закрылся. Народ ночевал в сквере. Я забил место на скамейке. Большинство разложилось в пыли под деревьями.

По аллейке бродила сумасшедшая. Неопределенных лет оборванная женщина просила милостыню. Иногда она порывалась уродливо танцевать.

Ночлежники оживились. К ней обращались по-русски, звали Катей и бросали копейки, веля плясать. Катя безумно хихикала.

Это было неприятно, потом противно, потом тягостно, потом я стал звереть. Развлечение попахивало травлей. Она здесь была одна русская среди узбекских семей, каракалпаков и туркмен, кто там они еще есть.

Она приближалась, и мой сосед по скамейке тоже проявил активность в веселье. Толстенький отец семейства пустил в темноту монетку и заказал танец, смеясь.

Взрыв бешенства интересен. Внутри тебя открывается маленький баллончик, капсула. И тугой колючий газ, режущий, крепкий, агрессивный, нестерпимый, в секунду заполняет тебя от мозга до пальцев. Ты успеваешь ощутить, что контроль потерян, грудь холодеет, тело взрывается, оно убивает, крушит и рвет. Глотка стиснута, вопль дик, смерть прекрасна.

На грани этого серьезного чувства я оказался стоящим рядом с Катей. Густо пахло вином и грязным телом. Я сунул ей в ладонь мелочи сколько было, сложил в кулак и развернул прочь.

– Пошла отсюда! – голосом драки приказал я, и она пошла.

– А тебе, дур-рак, что? Развлекаться больше нечем? – тем же голосом сказал я узбеку.

Это было громко. Все в темноте промолчали. Как-то я знал, что драки не будет. Проглотят. Не Кавказ. Азия.

Я сидел рядом с осрамленным узбеком, курил и думал об азиатском характере, уважающем силу и боящемся прямых столкновений. И вообще о белой расе в духе Джека Лондона.

А назавтра, побродив по Бухаре и проникшись глиняными руинами и лазурной эмалью, я разговорился в чайхане с одним татарином. То есть я не знал, что он татарин. Он слу-

жил срочную в Ленинградском округе, видел Питер дважды на пути туда и обратно, и человек из этого города был для него земляком по лучшему месту в мире. Он поил меня до ночи, пел о ленинградской культуре и честности, и жаловался на засилье узбеков, которых презирает, хотя сам и татарин. Средняя Азия полна национальностей, а национальности полны противоречий.

Чай давно перешел в портвейн, а чайхана – в скамейку среди сквера с фонтаном. На скамейке я и устроился спать, забыв, что рисковый вариант два раза подряд не катит.

Я проснулся от прикосновения. Оно было интимным, но оно не было женским. Оно было осторожным, но оно было настойчивым. Я стряхнул руку и стал просыпаться. Рука вернулась на место. Она была прикреплена к мужику, сидевшему в ногах.

Мужик был кудловат, смугловат, пьяноват и гниловат. Ласков и мерзок.

– Почему на улице спишь? – ласково спросил мужик. – Спать негде? Пойдем ко мне, это здесь, я рядом живу. Выпить хочешь? Девочек хочешь?

Я сел и вгляделся в часы. В два часа ночи, в кустах, в Бухаре ко мне пристал местный гомосек. Дыша дрянью, он норовил придвинуться и обнять. Я был поддат, и я не представлял, где тут что. Тьма была кромешная. У меня хватило ума удачно провести вечер.

– Покушать хочешь? У тебя деньги есть, я могу дать тебе

деньги, только скажи?

Он был слаб, но лез вперед и бесстрашно улыбался. Мне стало неуютно.

– Паш-шел! – сказал я, отпихиваясь. – Паш-шел!.. – Он диковато лыбился и лез.

– Убью, сука! – Я скрутил ему ворот, тряхнул, толкнул кулаком в подбородок. – Нарваться хочешь? Вот здесь сейчас и нарвешься. Счас мочить тебя буду, урод. – Я встал и сунул руку в карман.

Он нисколько не испугался.

– Ты злой, – укоризненно отметил он и медленно ушел. – Почему ты такой злой? – обернулся и покачал головой.

Пора было сваливать. Не факт, что он не вернется с кодлой. Стремный скверик. Я подхватил свой рюкзачок и быстро пошел к очагам цивилизации.

Шел-то я быстро, но где очаги цивилизации – понятия не имел. Несколько лавочек рядом были закрыты. Единственная лампочка просвечивала вдали над гадским сквером, как звезда порока. Если найти автовокзал, там рядом стояли современные постройки…

Таращась во мгле, я крутил среди глухих глинобитных стен в полтора человеческих роста. Все прямые были кривыми, все углы закругленными. Собачий лай передавал меня, как эстафету. Я заблудился.

Шаги догоняли. Я побежал. Шаги отстали, раздались сбоку и вышли навстречу.

Их было человек семь, и если там были ножи, мне хана. Я вдруг почувствовал огромное миролюбие. В стрессе голова тормозит, и делаешься спокойным.

– Салям алейкум, – глупо и неожиданно для себя сказал я.

– Алейкум ассселям, – тихо просвистело в ответ с интонацией «сейчас-сейчас, погоди…».

– Я был не прав, готов уладить! – быстро сказал я, презирая себя за трусость и уважая за циничное хладнокровие. Я представил, что они могут понять под словом «уладить», и пришел в истеричное веселье. Нож был в кармане, но если что – не успеешь открыть.

Главное – не отвечать, если начнут бить, повторял я себе, получил по зубам и по уху и махнул руками наугад. Меня мигом снесли, я пришел в себя на карачках, пряча лицо в грудь. Пинали в ребра и зад, безостановочно и не больно.

– Ша, мальчики! – рассудительно сказал я. – Спасибо, достаточно. Я все понял!

Это всегда хорошо действует. У них спал задор. Еще попинали для порядка, грозя страшными карами на смеси языков, и ушли.

Через минуту я вышел к гостинице. Она была за углом. Над открытой дверью светил фонарь. Милиционер обжимался с администраторшей.

Я достал из паспорта неразменный рубль и снял койку за девяносто копеек. Милиционер затребовал информацию о причине моей помятости. Поправил кобуру, зажег фонарик

и отважно шевельнулся в сторону темноты.

– Ахметка, ты куда, ножик в бок получишь!.. – заголосила женщина, цепляясь за его локоть.

Он показал, что сожалеет о препятствии исполнить долг.

За стойкой висело зеркало. Я не получил видимых повреждений. Младший сержант Ахметка с администратором Верой утешали меня в том плане, что педераст национальности не имеет. Все они курят траву, жуют нус и истощены пороком. Совсем слабосильные, вай.

Мы смеялись, что лучше встретить ночью слабосильных педов, чем здоровых волков. Меньше здоровья убудет.

Я думал, что долго буду курить в койке, и чуть не спалил во сне подушку. Там везде можно было курить, даже в магазинах.

А больше меня в Средней Азии пальцем никто не тронул.

Калым

Нигде не было так замечательно, как на Иссык-Куле! Трижды в день я ел только лучшее мясо, и каждую ночь спал с четырьмя девушками. И все это на фоне восхитительного пейзажа с водной гладью и снежными пиками. За три недели такой жизни мичмана Панина без сожалений разжаловали в матросы.

Если перевести высокую поэзию в скучную прозу – три недели я работал официантом в столовой пансионата Ка-

захского, то бишь Алма-Атинского университета: весь берег был в пансионатах. А жить меня четыре официантки пустили к себе на балкончик, на пустую коечку, и на ночь запирали за мной дверь в комнату, заразы-девки, жертвы добродетели. Ромео на балконе, а поговорить не с кем.

Но трижды в день я накрывал столы в две смены, а ела вся столовская обслуга на кухне что хотела и сколько хотела. Заезд у них продолжался три недели, и девки меня устроили перед начальством как бы алма-атинского студента подработать на время пребывания. И за это счастье мне приплатили сорок рублей, как по ставке за три недели минус налоги. Я еще долго жил как богатый.

Так что собирать знаменитые иссык-кульские маки на горных лугах у меня никакой материальной необходимости не было. Но криминальная романтика тогдашней малоразвитой наркопромышленности влекла! Если бы я был хоть чуть умнее, то рисковать четырьмя годами из-за их поганых коробочек и надрезов с белым густеющим соком ни в жисть не стал бы, конечно. Чтобы закрыть криминальную тему, за день чистки арыка кетменем в Ферганской долине я получил у хозяина пятьдесят копеек и еду. Причем пока я научился снимать пласт грязи кетменем и тем же круговым движением выбрасывать ломоть наверх – я изгваздался с ног до головы, к удовольствию трудящихся Востока. А за день заготовки конопли там же недалече, подучил один такой же поденщик, мне заплатили пять рублей, причем с учетом моего

беспомощного положения, потому что обещали триста в месяц или десятку за день. Я взял пять и свалил в туман, чем-то их бизнес меня беспокоил.

Самое простое в населенном пункте – пройти по винным магазинам, предлагаясь на любую работу за бутылку в конце дня. Тебя оценивают и гонят, но иногда берут на подноску-разгрузку. После чего ты продаешь бутылку за рубль прямо у магазина, а стоит она, допустим, рубль тридцать две. Даже если у заднего крыльца уже трудятся свои постоянные алкаши, ты объясняешь им свои условия, потому что они работают, как правило, за треху. И они с радостью разрешают тебе работать за них, потому что они курят и кайфуют, а тебе всего-то дать один пузырь, выцыганенный у продавщицы по знакомству сверх условленного.

Разгружать вагоны на станции – дело дурное. Ставки – двадцать две копейки тонна, и не верьте фантазерам. Причем – ты встаешь в конвейер уже втянувшихся мужиков, и надо держать темп. За пятерку наломаешься так, что колени еще назавтра дрожат. Хотя, конечно, деньги; и надо еще, чтоб туда-то взяли, бичей кругом полно.

Уборка фруктов – фигня. Чем дальше от центров цивилизации – тем ниже цены и бедней народ. За те же пятьдесят копеек в день солнечный удар сшибет тебя со стремянки и свернуть шею? Всем большое спасибо!

Может повезти на овощебазе, если дальнобойщику срочно надо погрузиться-разгрузиться, а народу под рукой не

хватает. Если он комбинирует на свой интерес, там деньги ходят приличные, и за старание могут кинуть десятку за три часа легко! Но тогда ящики с абрикосами и прочими яблоками надо носить рысью, потому что платят не за старание, а за то, чтоб твое старание увидели и оценили; если показал результат, конечно.

На базарах редко светит, там отирается полно своих бичей, согласных на все за самую малость. Гнилые фрукты-овощи и огрызки лепешек подбирает постоянный контингент на откорм скоту. Здесь ничего не пропадает, жизнь-то бедная.

Вот в Ташкенте я за четыре рубля день возил по городу автобусные экскурсии. Я сидел в холле гостиницы «Ташкент» на площади Навои и наслаждался первым, похоже, в стране кондиционером.

Читал от скуки бесплатный путеводитель и высокомерно отвечал швейцару, что жду ленинградского режиссера-документалиста. А она в мегафон приглашала народ на экскурсию по городу. Я сказал, что самореклама делается не так и от нечего делать могу помочь. Она обрадовалась, она была практикантка, а старший кинул ее одну и свалил по своим делам. Ну, я им рассказал – и про книгу Неверова «Ташкент – город хлебный», и про закрытую военную статистику по недавнему знаменитому ташкентскому землетрясению, и про мемуары Вамбери, и про съемки «Александра Невского» в пустыне, посыпанной неочищенной солью. Рядом с шофером стояла коробочка, туда народ опускал мелочь, выхо-

дя. В конце дня мы разделили двенадцать рублей на троих.

А вообще народ в Средней Азии был добрый, вот что я вам скажу. Те, кто застрял там после эвакуации, а таких немало было, ведь ехать было некуда, война все стерла, так вот они вспоминали, что в войну их подкармливали, жалели, и никто не обижал.

Прокормиться было просто.

Муэдзин

В Хиве я работал муэдзином. Я был одноразовый муэдзин, после такой работы убивают. Сеанс приключился в жанре смехопанорамы. Но учитывая гонения на ислам и запрет обрядов, и на том спасибо.

В Хиве весь старый город внутри средневековых стен сохранился на редкость. У мощеной площади рассекал небо огромный изразцовый минарет. Ну так можно ли было на него не влезть?

Местная власть, стремясь к цивилизованности, объявила минарет музеем. Один на один с кассиром я купил билет за десять копеек и прошел в открытую дверь, чему никто не мешал и бесплатно.

По крутой винтовой лестнице, истертой, отшлифованной, скользкой, я вскарабкался на верхнюю площадку и выкурил сигарету с видом на панораму. Мир был исполнен двумя красками: желтой снизу и синей сверху. На площади между

плоских кровель вялая толпа смотрела бой вялых баранов. Я недавно присутствовал.

Двух здоровенных, как кабаны, бурых рогачей хозяева растаскивали в стороны, трепали и толкали навстречу. Бараны кратко цокали по камням, глухо стукались тупыми лбами, и так стояли. Потом все повторялось в двадцатый раз. Азартнее бить лбом в дверь. Восток надо понять. Было в этом что-то вечное, бесконечное и безвыходное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.